



Елена
АРСЕНЬЕВА

*Любимая
девушка
знахаря*



РУССКИЙ БЕСТСЕЛЛЕР

Писательница Алена Дмитриева

Елена Арсеньева

Любимая девушка знахаря

«Автор»

Арсеньева Е. А.

Любимая девушка знахаря / Е. А. Арсеньева — «Автор»,
— (Писательница Алена Дмитриева)

ISBN 978-5-699-36402-2

Все началось с сущей безделицы. У писательницы Алены Дмитриевой заболела нога. Лечить ее она отправилась в компании художника по прозвищу Леший к деревенскому знахарю Феичу. С этого момента с Дмитриевой стали происходить странные события. На обратном пути они с Лешим подобрали попутчика. Именно из-за него машина заехала в кювет: парень якобы увидел... белого тигра. Друзья вернулись к Феичу за подмогой. Мужчины ушли, а писательница осталась в избе одна и из любопытства залезла в старый сундук, а через него попала в подземный ход. Который вдруг обрушился!..

ISBN 978-5-699-36402-2

© Арсеньева Е. А.

© Автор

Содержание

Что рассказала бы Маруся Павлова	8
Из записок Вассиана Хмурова	14
Что рассказала бы Маруся Павлова	21
Из записок Вассиана Хмурова	27
Что рассказала бы Маруся Павлова	35
Конец ознакомительного фрагмента.	37

Елена Арсеньева

Любимая девушка знахаря

Ну где возьмешь в природе постоянство!

А у зимы – коварный женский нрав.

Юрий Кузнецов

Леший приехал ровно без двадцати десять, как и обещал, перезвонив накануне вечером. Впрочем, нет, он обещал приехать «без двадцать». В Нижнем Новгороде именно так говорят: «без двадцать», «без пять», «без десять» и даже, кажется, «без пятнадцать». Алёна Дмитриева жила в этом городе почти всю жизнь, но привыкнуть к некоторым его фокусам, особенно лингвистическим, никак не могла и всегда иронически приподнимала бровь, услышав что-то подобное. Ей, конечно, очень хотелось хмыкнуть, но обижать Лешего не стоило. Хотя бы потому, что он был одним из самых близких ее друзей (очень немногих!) и вообще человек хороший. А также хороший художник. Словом, ценность великая, таких людей надо беречь. Вот Алёна и не стала хмыкать, а поднятой брови Леший по телефону все равно не увидит. И она сказала только:

– А сначала говорил – в одиннадцать поедem.

– Кто рано встает, тому Бог дает, ты же знаешь.

– Знаю, – вздохнула Алёна. – Да, я знаю тебя! Спасибо, что не в пять утра, а то ты бы мог...

Вставать в пять утра для Лешего было самым обычным делом, и, может, благодаря этому был он человеком вполне успешным: картины его продавались пусть и не за громадные, но за вполне приличные деньги, достаточные для того, чтобы иногда менять машины, содержать двух жен (нынешнюю и бывшую), а также двух сыновей, взрослого и маленького, ну и некоторое количество любовниц. Количество последних исчислению не поддавалось, было величинной очень сильно переменной, но в то же время постоянной – в том смысле, что любовницы были у Лешего всегда, у него в мастерской вечно толкалась какая-нибудь полуобнаженная, а то и вовсе обнаженная натура. И как они умудрялись не сталкиваться между собой и с женами, которые частенько захаживали (причем без предупреждения!) в его мастерскую, можно было только диву даваться. Наверное, у Лешего был развит особый чуй на опасность и нагие красотики успевали спрятаться на втором этаже – за холстами и мольбертами. Или среди ящиков с непомерно разросшимися цветами, которые более напоминали клумбы, а поскольку Леший предпочитал миниатюрных дам, таких Дюймовочек, им было как нечего делать спрятаться в клумбах и прикрыться листьями и лепестками, чтобы их никто не засек.

Имел место в жизни Алёны Дмитриевой один пассаж... Как-то раз, еще прошлым летом, она шла себе по Рождественской, мимо Речного вок-зала, и вдруг грянул бешеный ливень. Просто-таки лавина воды рухнула с небес! Алёна метнулась было к трамваю, но вагон выбрал именно данный момент, чтобы отойти от остановки. Отошел – а за ним открылась арка, в которой сбоку находилась подъездная дверь. Да ведь это вход в мастерские Союза художников! Там находится мастерская Лешего, дорогого друга, которого Алёна сто лет уже не навещала! Вот и повод.

Алёна в два прыжка перескочила Рождественку (между трамвайными путями уже неслись потоки, готовые захлестнуть рельсы, – ливневая канализация в Нижнем работает кошмарно, а точнее сказать, вообще никак не работает) и с мокрыми ногами влетела под арку. Тотчас вспомнила, что так давно не была у Лешего, что не знает код замка, но дверь оказалась приотворена, и Алёна быстро пошла вверх, на пятый этаж. То есть назывался он пятым, но из-за двух пустых, бесквартирных пролетов внизу был фактически седьмым.

В стародавние времена в этом здании на верхних этажах находились номера с девицами, вроде бы даже где-то здесь размещалась знаменитая и весьма разорительная для клиентов «Магнолия», обслуживающий персонал которой выезжал на стажировку в Париж, вывезя оттуда устрашающий запас французских духов и приобретя настоящий французский шик, что, очевидно, особенно ценилось при занятиях французской любовью. Теперь на лестнице пахло не французским парфюмом, а ужасно воняло газом и жареным луком, потому что как завелся в бывших номерах коммунально-социалистический быт в 20-е годы прошлого века, так и не выводился, и не выветривался. Один раз Алёна шла в гости к Лешему, будучи некоторым образом беременна. Ее выворачивало на каждом пролете, и на четвертом она сдалась перед позывами природы – сбежала вниз, на свежий воздух. Давно это было, давным-давно. И ребенка она того не родила, потому что муж не хотел, и муж уже перешел давно в разряд бывших, и боль по тому и другому поводу стала плюсквамперфектом, а все равно теперь затошнило от одних только воспоминаний!

Чтобы убежать от них, Алёна просто-таки взлетела к двери, украшенной двумя десятками кнопок со звонками и надписями: «Леший, живописец», «Ковалев, график», «Нина Перебокина, керамистка» и все такое, как дверь перед самым ее носом отворилась, и появилась эта самая Нина Перебокина. Алёна ее видела на каком-то вернисаже, а потому сразу узнала.

– Вы к кому? – спросила подозрительно керамистка и сощурилась, чтобы лучше разглядеть незваную гостью.

– Не к вам, – нагло ответила Алёна, которая таких вот допросов терпеть не могла, полагая, что ее внешность способна всякому внушить: человек она приличный, даже более чем, и встречать ее следует не презрительно сощуренными глазками, а радушной улыбкой. – Разрешите пройти?

– Нет, вы должны мне сказать! – истерически вскрикнула Нина. – Здесь у нас не проходной двор, здесь работают творческие люди, и если невесть кто будет бродить по коридорам... Неужели вы не понимаете, что мешаете?! Вы спугнете вдохновение, а его не вернуть, это такая легкокрылая птишка...

Алёна Дмитриева, которая не понаслышке знала, что такое вдохновение (наша героиня вообще-то была писательница: да-да, поверьте на слово, и больше к этой теме возвращаться не будем), не смогла сдержаться усмешки. Прежде всего потому, что вышеназванная легкокрылая птишка панически боится всех и всяческих истерик и непременно норовит упорхнуть, лишь слышит такое вот творческое кликушество. Кстати, судя по всему, подобное и произошло в нескольких мастерских: там и сям открывались двери, выглядывали весьма недовольные, почти сплошь бородатые физиономии, слышались возмущенные голоса:

– Нельзя ли потише? Кто тут орет?

Открылась дверь и из мастерской Лешего, и он сам встал на пороге, имея, как всегда, художественный беспорядок в одежде и взлохмаченные рыжие волосы:

– Нинок, ну чего ты опять крик подняла? Говорю же, нет у меня никого, никого я не жду... Ой, Леночек, ты? Каким ветром?

– Каким ветром... – керамистка демонически захохотала. – Ладно притворяться! Ты ее ждал, потому меня и не пустил на порог. Что, она рановато появилась? Зато я теперь знаю твою очередную девку! Кстати, что-то старовата для тебя, ты ж молоденьких предпочитаешь...

– Сбавьте тон, милочка, – ледяным тоном оборвала ее Алёна. – Как бы вам не пришлось публично извиняться.

– Это моя двоюродная сестра, – внушительно добавил Леший. – Знаменитая писательница Алёна Дмитриева. Так что и правда, сбавь тон, Нинок.

На самом деле Алёна и Леший никакими родственниками не были. Они просто дружили, совершенно платонически, но поскольку посторонние, знавшие, что Леший ни одной юбки не пропустит, а Алёна Дмитриева, фигурально выражаясь, – ни одних брюк, не могли пове-

рять в совершенную безгрешность отношений двух столь темпераментных личностей, то оные личности и выдумали свое родство как алиби. Кроме того, Алёна, подобно Марлен Дитрих, полагала, что постель способна испортить самые лучшие отношения. Леший был ее лучшим другом, и терять его ради того, что можно получить от любого другого мужчины, она не собиралась. Алёнина фотография висела на самом видном месте в мастерской Лешего, там же стояли ее книжки, у нее дома стены были увешаны его картинами, ему единственному дозволено было называть ее жутким, невыносимым именем Леночек (на самом деле наша героиня была, конечно, никакая не Алёна, а самая типичная Елена, да и не Дмитриева, кстати, а Ярушкина, но подлинное имя свое терпеть не могла), и оба страшно гордились выдуманным родством и невыдуманной дружбой.

– Точно, это Дмитриева, – встрял в беседу один из бородатых художников. – Я ее фотку видел в газетах. Да и у Лешего в мастерской снимок висит. Ты зайди, Нинок, посмотри, там даже написано: «Дорогому брату Лёнечке от Алёны». Так что все путем!

Похоже, в голове у керамистки Нины Перебокиной наступило некоторое просветление. Лицо ее приняло сконфуженное выражение, но Алёна не стала дожидаться естественного развития событий и неминуемого потока извинений, а с прежним ледяным выражением на лице проследовала в гостеприимно открытую дверь мастерской Лешего.

Что рассказала бы Маруся Павлова

Тоска дремучая, а не деревня. Ни клуба, ни кружков, ни танцплощадки... Тощища! Непроглядная отсталость и серость. Ну конечно, что может быть передового и нового в деревушке, притулившейся вокруг монастырских стен? Монастырь, понятное дело, закрыт, сестры – монастырь был женский – разъехались кто куда или по деревне разошлись, прижились тут, не хотят уходить от своих святых мест... А что в них святого, скажите на милость?! Самые что ни на есть разбойничьи места. Маруся читала, что в старинные времена сюда никто не отваживался заходить, даже ради того, чтобы спрямить дорогу, минуя торную. Ну, знать, не напрасно торную проложили по мари, предпочитая лучше гати мостить, чем захаживать в эти края, имевшие непроходимо дурную славу.

Разные легенды гласили о причинах этой славы по-разному. Одна уверяла, что здесь во времена вовсе уж незапамятные был погост, на котором хоронили только колдунов племени, жившего еще прежде, чем тут появились русские люди. Да и разве колдунов хоронили как положено? Ничуть не бывало. Их не зарывали в землю, а заворачивали в бересту и подвешивали на деревьях. Жуть жуткая! По слухам, место было страшнейшее. Особенно по осени поздней, когда лист уже облетал, а ветрам нужно было что-то трепать. Вот они и куролесили с теми берестяными коробами... Некоторые сшибали наземь, и по зиме до мертвых колдунов добиралось оголодавшее зверье, а тех, что еще висели, расклевывали птицы. Да уж, место – хуже не придумаешь. Небось в темные безлунные ночи призраки слетались сюда целыми стаями!

Другая байка сообщала, что здесь прижились два варнака с варначкою, бежавшие аж с самого Амура – с золотых рудников. Бежали они не с пустыми руками, а с изрядным запасом краденого золота – и песка, и самородков. Намеревались потом, хорошенько отсидевшись в тиши, золото продать. Однако мужики передрались из-за варначки, которая была вроде как одному женой, а лкнула к другому, – да и поубивались взаимно. А куда золото подевалось – сие никому не ведомо.

В третьей легенде говорилось, что в этих местах бил ключ, вода из коего была наделена очень странными свойствами. Человек, ее выпивший, либо с ума сходил, либо заболел чесоткою и от мучений ее исчезал до смерти. Якобы когда пришли сюда уже на постоянное жительство монахини, они ключ засыпали землей и даже камнями забили, а сверху бурелому нагребли, однако вода нет-нет да и просачивалась сквозь землю то там, то сям, и везде, где она являлась, прорастала трава, наделенная теми же свойствами, что и вода в ключе. С виду она ничем от прочей травы не отличалась, скажем, от доброго какого щавеля дикого, однако человек, покушавши щец из этакого щавеля, превращался в безумца или умирал в страшных муках злой чесотки.

В четвертой байке, самой врущей, рассказывалось не про кого-нибудь, а про белого тигра. Нет, ну слуханное ли дело – тигры на Нижегородчине?! Их небось даже и в царское время в зоопарке тут не было. А может, и были. Может, один какой-то взял да и сбежал. Ну а людская молва, с ее склонностью все раздувать, приукрашивать и преувеличивать, разнесла слух до небес. А может статься, слух пустили те самые варнаки: ведь на Амуре тигры, говорят, водятся, в тайге-то их варначкой. Маруся слышала: бывает тигр, к примеру, бенгальский, а бывает – амурский. Но чтоб в здешних местах да еще какие-то белые тигры водились... Бабы сказки!

Все эти легенды Маруся вычитала в единственной книжке, которая отыскалась в теткинй избе, – не считая Библии и Нового Завета, конечно. Опиум для народа был аккуратно обернут в газетки и носил на себе следы всяческого обережения, ну а книжка с легендами даже названия такого не заслуживала, ибо представляла собой некий оборвыш: без обложки, из переплета нитки торчат, страниц половины нету, и только на титульном листе можно было прочесть, что книжка называлась некогда «Предания Золотой пади», а ее автором был чело-

век по имени Вассиан Хмуров. Книжку эту он не только сам написал, но еще и деньги сам заплатил, чтобы ее издать. Об том тут же, на титульном листе, значилось: «Напечатано за счет авторского пожертвования типографии». Произошло сие во времена незапамятные – аж еще при царе, в 1916 году. Конечно, тогда самодержавный режим доживал уже последние месяцы (как известно, царя Николашку скинули в феврале 17-го), а все ж это была еще старая Россия – страна поповских бредней и всяческого мракобесия. Но даже и тогда подобную ерунду могли напечатать только за счет «авторского пожертвования». Теперь-то небось писателя, такое насочинявшего, поганой метлой помели бы с типографского порога вместе с его «пожертвованиями», а то и прищучили бы в ОГПУ!

Марусе, конечно, было очень стыдно, что собиратель всяческих бабских сказок Вассиан Хмуров приходился ей родственником. Он был ее дядюшкой, но не родным, а лишь постольку, поскольку был женат на материной сестре, тете Дуне. Дуня Панова вышла за того самого Хмурова, а вторая сестра, Марусина мать, Даша Панова, – за Николая Павлова. И Маруся, значит, была по фамилии Павлова.

Маруся ни дядьку, ни тетку за всю свою восемнадцатилетнюю жизнь ни разу не видела, потому что Хмуровы жили в такой дали и таком уединении, что даже по большим праздникам в город не выбирались. А с другой стороны, как выберешься, на чем? Единственная лошадь Хмуровых давно пала, тетя Дуня об том сестре своей, Марусиной матери, еще когда отписывала. Соседи деревенские – тоже безлошадные, никакой от них подмоги. Раньше можно было в монастыре взять лошадку – и чтобы дров из лесу привезти, и для поездки в город, и для пахоты, конечно, – но с тех пор, как монастырских разогнали, лошади остались только в совхозной конюшне. Но они там были такие старые и заморенные – не лошади, а сущие клячи! – что их всем миром очень берегли для весенних работ: пахать да боронить. Ну а коли ехать куда, то уж если что-то вовсе из рук вон необходимое, скажем, председателю в район понадобится, отчеты везти...

Письмо с этими жалобами тети Дуни Марусина мать получила два года назад. Когда Маруся его прочитала, она промолчала, чтобы мать не злить (та была на расправу скоро и тяжела на руку), а сама подумала, что тетка клеветает на новую жизнь и совхозную действительность. Что и говорить, крестьянство всегда тяготело к мелкой буржуазии, про то во всех книжках по истории написано. И жители такой глушицы, как Падежино, конечно, никакое не исключение. Недаром даже здесь отыскивались кулаки, которых, само собой, всех уже отправили в Сибирь. Ну, подумала так Маруся да и забыла – мало, что ли, у нее, у рабфаковки, было забот! С тех пор два года прошло, но вот приехал в город учиться Петька Заводин, сын совхозного председателя из Падежина, и зашел к Павловым с новым – последним! – письмом от тети Дуни Хмуровой.

Такое странное письмо... Мать, прочитав его, то плакала, то тихонько принималась ругаться, крестя рот, когда с языка слетало крепкое словечко... Маруся помнила с детства эту ее привычку, потом-то мать отучилась креститься: ну что ж, предрассудок, всеми теперь осуждаемый, чай, в соседях у них были милиционер и учительница, при них не больно-то накрестишься, и неловко за темноту и отсталость, да и боязно, еще доложат куда надо, не отбредешься ведь потом. Письмо мать читала долго, потому что была не так чтобы шибко грамотная, однако вслух Марусе читать не позволила: осилила сама, раз, и другой, и третий, старательно шевеля губами. Только потом дочке отдала и сказала читать про себя. И когда отец со стройки пришел (он плотничал), ему тоже велено было читать про себя.

Да, странное оказалось письмо. Начать с того, что тетя Дуня в первых строках не рассыпалась поклонами и приветами, как положено, а сразу начала с печальных своих новостей: «Хочу сказать тебе, дорогая сестра Даша, что дела мои плохи. Хуже некуда. Началось все с того, что Вася пропал-сгинул почти месяц назад, а я помирать собралась, так что надо бы нам повидаться».

– Ишь ты, – сказала Маруся, едва прочитав, – я и не знала, что тетя Дуня грамотная, так хорошо пишет и без ошибок. Или за нее Петька писал? Или кто другой?

– Нет, она сама, ее рука видна, – покачала головой мать. – Дуська всегда умная была, а грамоте она у монашек училась. Да и я тоже. Только она лучше меня и читала, и писала, и считала, и язык подвешен был лучше: недаром Вассиан, когда в наши края приехал сказки-байки собирать, не на меня клюнул, а на нее.

Что-то такое странное почудилось Марусе в ее голосе – то ли обида, то ли ревность заставляла. Она даже внимательней на мать взглянула, но та сидела подпершись ладошкой, глядя в стену, хотя чего там можно было увидеть, кроме вышитого Марусей на сером куске сурового полотна и вставленного в рамочку букета красных маков, совершенно непонятно. И Маруся стала дальше читать:

«...Помру я, судя по всему, к исходу лета, мне это бабка Захарьевна открыла, а я ей верю. Я уж и сейчас-то еле ноги волочу, очень уж медленно кровь течет, а однажды, бабка Захарьевна так сказала, она и вовсе остановится и сердце толкать перестанет. Помру тихо и без боли, может, и догляда за мной особого не понадобится, а все же страшно одной. Вася пропал, совсем пропал, и не ведаю я, и никто не ведает, где он, вернется ли, и бабка Захарьевна ворожила, а все ж не высмотрела, воротится Вася или нет. Вроде бы как жив он еще, родимый, и сердце мне вещует, что жив, а может, сердце обманно, видит то, что хочет видеть, а не то, что есть. Он ушел не простившись, когда я спала. И ни словом не предупредил, и записку не написал, куда идет. Почему, не знаю, и гложет меня обида, что так ушел... Воротится, а меня уж нет. А то и не воротится... Но хозяйство пропадет, чужие люди разнесут, а все же дом родительский, и подворье, и кое-что нами с Васей за жизнь нажито, а детей Бог не дал. У тебя дочь-невеста, а достаток известно какой. Приехал бы кто, ты сама, а может, и Маруся... И мне веселей, и за добром пригляд. А там, когда останется одна, без меня, сумеет распорядиться тем, что приглянется. Вещи кое-какие в город можно перевезти, дом заколотить – а ну когда и пригодится... В общем, сестра, решай, а старое забудь, такая, знать, судьба твоя, что ты в тот вечер занемогла, а я нет. Судьба... ничего иного. Прощай, храни вас всех Бог, жду кого-то из вас. Ну а нет, что ж, знать, и на то судьба».

Маруся ехать к тетке не хотела – вот еще, невесть куда тащиться! – однако у нее настали каникулы, а отец с матерью были привязаны к работе. Маруся тоже хотела на лето устроиться куда-нибудь уборщицей, почти уже договорилась с директором клуба, в котором делал ремонт отец, но... пришлось отправиться в Падежино.

* * *

Леший захлопнул дверь и обнял Алёну:

– Слушай, извини, Леночек, Нинка приперлась не вовремя. Вообще она такая ревнивая, просто спасу нет, всюду ей мои любовницы мерещатся.

– А ее-то печаль какая? – поинтересовалась Алёна, миглом начиная осматриваться в чудной и забавной комнате, где кругом были картины, картины, картины, этакий нижегородский сюрреализм, как определяла этот жанр Алёна. Вот мальчик, спящий в дупле заснеженного дерева, – новая работа, и рыжая девушка, похожая на похотливую кошку, и огородик на белом облаке, который поливает из лейки заботливая бабуля-огородница, великанша, богатырка... – У нее что, есть основания тебя ревновать?

Леший хмыкнул.

– Да, я понимаю, – засмеялась Алёна, – основания для ревности ты перманентно даешь. Я хотела сказать, у нее и в самом деле есть право тебя ревновать?

– Да ты понимаешь... – заюлил глазами Леший, – Нинка иногда заглянет в подходящую минуту, чулочек там покажет белый, юбочку приподнимет, а там... ну, слаб человек, ты ж понимаешь...

Конечно, всяк сходит с ума по-своему. Что означает в том числе: у каждого свои сексуальные предпочтения. Леший не мог устоять при виде белых чулок. Хм, очень безобидно! У Алёны Дмитриевой, к примеру, имелся один кавалер, которого непременно надо было встречать в джинсах и свитере, а под непрезентабельную справу вообще ничего не должно было быть надето. То ли в красавчике погиб геолог, то ли первостроитель БАМа. Но Алёна благодарилась судьбу, что для поднятия его боевого духа не требуются телогрейки, пропитанные запахом лесных костров, да кирзовые сапоги с портянками. Впрочем, ни портянок, ни носков, ни самых что ни на есть ажурных чулок сей типус вообще не признавал. Он обожал босые женские ножки: хлебом его не корми, только дай обцеловать пальчики ног. Вот такой он был фетишист. Парень вообще удался хоть куда – и красой, и достоинствами своими, но Алёна с ним вскоре рассталась: во-первых, натурально разорилась на педикюре (молчел являлся к ней еженедельно, а то и дважды в неделю, а она как типичная Дева не могла себе позволить ничего неэстетичного, то есть уж если предаваться фетишизму – так самому что ни на есть свежееотпедикюренному, а цены на такие услуги нынче взлетели просто до небес), но, главное, она боялась щекотки и начинала истерически хохотать в самые трепетные моменты, когда любовник молодой ловил высший кайф от целования ее пальчиков... Вообще чувство юмора у нашей героини вечно срабатывало в самые неподходящие моменты. Ну в точности как небезызвестное фармацевтическое средство «бисакодил», действие коего, как известно, не прогнозируемо!

– Вот Нинка и решила, что я уже такой... дрессированный, – продолжал оправдываться тем временем Леший, – а я не люблю однообразия, ты же понимаешь.

Алёна Дмитриева и в самом деле понимала. Она тоже не любила однообразия.

– То есть дождь загнал меня сюда весьма кстати? – улыбнулась она. – Чтобы изгнать керамистку?

К ее изумлению Леший отвел глаза.

– Ну, я на самом деле тебе всегда рад, но как раз сейчас, ты понимаешь...

В то мгновение у него в кармане зазвонил мобильный, и Леший уткнулся в трубку:

– Анечка, привет. Ты что, я тут, на месте, тружусь как пес, ко мне заказчик должен прийти. Ну да, заказчик, какая Нинка, ты что?!

Все было ясно. В кои-то веки Алёна навестила наилучшего приятеля, двоюродного, можно сказать, брата, а он, ясное дело, ждет очередную... э-э... натурщицу. Ну что ж...

– Да ты не парься, Леший, – сказала Алёна. – Пустяки, дело житейское. Как только твоя пассия появится, я немедленно смоюсь... в буквальном смысле слова, – добавила она, взглянув в окно, за которым так и хлестало. – Ты мне только зонтик дай. Есть у тебя зонтик лишний?

Леший, не прерывая разговора, махнул рукой в сторону дивана. Алёна знала, что внутренность дивана порою играла роль шкафа, а потому пошла к нему, собираясь открыть и найти зонтик, но тут ее задела по волосам свесившаяся со второго этажа длинная плеть плюща. Листочки его определенно обвисли. Леший любил свой зимний сад, но уходом за ним не особенно утруждался. А зачем? Всегда для того находилась какая-нибудь натурщица. Но, видимо, давно не находилась, этак и захиреть недолго цветочку! Алёна решила принести другу и брату хоть какую-то пользу, взяла одну из пяти леек, стоявших наготове с отстоянной водой, и поднялась на второй этаж мастерской. Ящик с плющом крылся за пышными геранями. Алёна перегнулась через них и наклонила лейку. Полилась вода. И вдруг...

Вдруг раздался тоненький возмущенный вскрик. Заросли гераней и еще каких-то растений заколыхались, и из них пред изумленные очи писательницы Дмитриевой явилась нагая беловолосая девица с зеленым, в мелкий цветочек, стройным телом.

Никак, дриада?!

Алёна тоже вскрикнула и чуть не выронила лейку. А девушка, глядя на нее зелеными, как листочки, глазами, залепетала смятенно:

– Вы не подумайте... это просто боди-арт... просто такой боди-арт! Ничего особенного! Ничего такого! Ничего личного!

Алёна и сама видела, что вода, стекая с белесых волос девушки, оставляет на ее зеленом теле бледные потеки. Ну да, Леший порою промышлял боди-артом, или авто-артом, или как там эта штука называется. Но расписывать авто он обычно выезжал в гаражи заказчиков, а вот любительницы боди-арта являлись в его мастерскую, и, зная Лешего, можно было бы очень сильно усомниться в том, что тут – ничего личного...

Алёна и усомнилась. Однако ничего не высказала. Прежде всего потому, что не могла вымолвить ни слова от смеха. Она просто поставила лейку, прощально помахала рукой бело-волосой дриаде и, прихватив сумку, прошествовала мимо уткнувшегося в мобильник Лешего и вышла из мастерской. Только на лестнице она дала себе волю и хохотала до тех пор, пока не спустилась на первый этаж и не обнаружила, что дождь по-прежнему льет вовсю, а она забыла найти зонтик. Но возвращаться обессиленная хохотом Алёна не стала, а просто подождала проезжавшее мимо такси – да и поехала себе домой.

Разумеется, это маленькое недоразумение никак не осложнило ее отношений с «двоюродным братом». Другое дело, что впредь без предупреждения Алёна в его мастерскую не совалась.

Однако именно Лешему позвонила Алёна, когда у нее вдруг люто разболелась растянутая на танцевальной тренировке нога (вернее, левый тазобедренный сустав). Есть в аргентинском танго такая сложная фигура – пьернас, делать которую надо осторожно. А Алёна вот не побереглась, махнула ножкой с избыточной резвостью, к тому же партнер неправильно ее на этот пьернас повел... И теперь каждый шаг и каждый резкий поворот причиняли мучения. Врачи выписывали килограммы лекарств и в один голос твердили: мол, надо ограничить движения. Алёна поняла: если она не хочет лишиться того удовольствия, которое получала именно от движения (пробежек по Откосу по утрам, занятий шейпингом трижды в неделю и чуть ли не ежевечернего аргентинского танго), если не хочет всю оставшуюся жизнь работать на лекарства (ее относительно скромный бюджет – слухи о писательских гонорарах, можете мне поверить, значительно, то есть ну очень значительно преувеличены! – и так начал давать глубокие трещины), если не хочет пить обезболивающее перед каждой милонгой (так называется вечеринка, на которой танцуют только аргентинское танго, и это культовое, почти обожаемое мероприятие для всех тангерос) и перед каждой шейпинг-тренировкой, нужно спасаться другим путем. Вообще Алёна была человеком неожиданных решений и нестандартных поступков. Дракон, ну что ты с него возьмешь! Самое забавное, что ее решения и поступки приводили порой к самым поразительным результатам, которых так называемые нормальные люди вовек бы не добились. И вот так, неожиданно, ни с того ни с сего, она позвонила Лешему и спросила, есть ли у него знакомый знахарь.

– Ага, – сказал Леший, словно бы даже и не удивившись. – В Падежино живет. Хороший мой приятель, Феич.

– Феич? – недоверчиво повторила Алёна. – Евонный папа звался Фей? Или у него отчество – по матушке, а та была Фея?

– Матушки его я не знаю, а папа евонный звался Тимофей, – хохотнул Леший. – Наш знахарь – Тимофей Тимофеевич, или Тимофеич, для краткости – Феич, его все так кличут. Да хоть горшком назови, главное, что он потомственный знахарь. У него не то бабка, не то прабабка знахаркой была, вроде бы еще какой родственник тем же промышляет, но Феич говорит, что тот халтурщик и деньговыниматель. А вот сам Феич, это я точно знаю, – истинный чудодей. Спину мне восстанавливал, когда я в аварию попал. Вообще фигура весьма колоритная. Между прочим, я с него домового писал для той картины, которую мэр три года назад купил. Я

как раз завтра собрался к Феичу съездить. Он меня обещал свести с сестрами – там же монастырь женский восстанавливается, и старые фрески в часовне нужно отреставрировать. Хороший заказ, просто клад! Феич говорит, надо шустрить, потому что уже тянется к монастырю очередная рука Москвы...

– Такие руки надо рубить! – категорично заявила Алёна. – Так ты возьмешь меня завтра в Падежино?

– Тебе что, для нового романа герой-знахарь нужен? – весело предположил Леший.

– Мне лечиться нужно, – грустно сказала Алёна и поведала историю своего несчастного травмированного тазобедренного сустава.

– Ну что ж, – резюмировал Леший, который был схож со своей «двоюродной сестрой» в том, что не любил долго ходить вокруг да около, – тогда завтра в одиннадцать выезжаем.

В результате они выехали без двадцати десять.

В смысле *без двадцать*.

Из записок Вассиана Хмурова Что рассказал дядька Софрон

Когда я начал перечитывать свои записки, сделанные в ночлежке, где обитал Софрон Змейнов, то ужаснулся. Писал, кое-как уместив блокнот на коленке, не замечая, когда ломался карандаш, писал почти вслепую, стремясь как можно более точно зафиксировать неудобьсказуемую, неудобьчитаемую речь Софрона... Разумеется, у любого читателя от его рассказа встали бы волосы дыбом. Мне пришлось взять на себя редакторский труд и обработать повествование. Зачастую это означало – поправить, очистить от забубенного мата, который срывался с уст спившегося Софрона так же легко, как божба. Но порой это означало – выхолостить, ибо мне не всегда удавалось сохранить своеобразие его живой речи. Потом, прочитав свою работу, я не всегда оставался доволен, поскольку слишком сильно было здесь литературное влияние моей образованности и начитанности, мне не всегда удавалось сблечь перлы словесности, образной речи приамурцев, которыми так блистал Софрон. Именно поэтому я веду повествование не от первого, а от третьего лица. Кое-что изложил очень вольно, кое-что приписал от себя: особенно если речь шла о размышлениях Максима. Он, странный человек, казался мне чем-то очень близок, ведь был не простолюдином, а человеком моего круга... может быть, мы могли бы с ним даже сдружиться, если бы он не пал от руки разъяренного Софрона. Наверное, останься Максим жив, он сам мог бы написать историю своего фантастического бегства с каторги и сделал бы это куда лучше меня... однако мстительность Софрона не оставила ему такой возможности, и история его жизни и смерти попала в мои не слишком умелые и, возможно, не слишком-то деликатные руки. Но что сделано, то сделано – и теперь я смогу предложить вниманию любого заинтересованного человека историю, вполне достойную пера Фенимора Купера и еще более романтического Майн Рида, но ставшую предметом моей обработки и... ставшую для меня тем путеводным клубком, который, очень может статься, приведет меня и любого другого, кто ее прочтет, к гибели.

Итак, вот то, что поведал мне Софрон Прокофьев по прозвищу Змейнов.

«Софрон часто подсматривал, как они разбирают золото. Вокруг отвалов стояла охрана, но ему все это было нипочем. Стражники стерегли тайгу – они не глядели на лотки, на руки старателей, старательно осматривавших каждый осколок кремня, а зачем-то глазели на вершины деревьев, как если бы хунхузы или русские разбойники обратились птицами небесными и намеревались налететь на прииск, аки черны вороны на добычу... Но никто и головы не поворачивал в сторону небольшого холма, поросшего шиповником.

А в том холме с противоположной, таежной, стороны имелся подземный ход – давний, невесть кем и когда прорытый. Может, маньчжурами – только не теми, что приходили раньше к нашему поселку с другой стороны Амура и кричали на разные голоса, предлагая муку, буду¹ и кирпичный чай² в обмен на «селебеленый денга, а медный тоже белем», что означало: им нужны серебряные деньги, но они согласны и на медные. Софрон всегда удивлялся, отчего маньчжуры столь дивно любят пятаки, отчего держать в руках медную монету для них такая великая радость. К серебру относились с превеликой почтительностью, а бумажных денег не брали – не понимали той силы, какая в них заключалась. Гольды³, напротив, пятиалтынных боялись: «Покажи, сколько их приведет на чальковой!» – просили растерянно. Для них глав-

¹ Китайское название пшена. Здесь и далее примечания автора.

² То есть чай, сформованный в «кирпичики», «цибики».

³ В старину гольдами называли нанайцев, гиляками – нивхов.

ной русской деньгой был чолковой, целковый, но сосчитать самостоятельно, сколько в него входит «селебела» или меди, гольды были не в силах, оттого их порою безбожно обдуривали переселенцы. Маньчжуров небось не обдуришь!

Маньчжуры теперь ушли от русского берега, вместо них кирпичный чай привозят русские скороспелые купцы и деньги за все дерут нестерпимые: чай по два рубля за кирпич покупали! А сельчанам без него, как без рук: и привыкли, и сытный он, особенно с молоком, погурански⁴. Конечно, совсем уж как гураны, с маслом и солью, русские чай не пьют, гребуют, как здесь говорят, то есть брезгуют, а все ж чаем живут так же, как и хлебушком. Да, совсем другая жизнь была, когда его задешево маньчжуры привозили...

Вообще деньги они уже позднее брать стали, когда пообзавелись русским барахлишком, а поначалу отдавали чай и буду за сущую мелочь: старый, чуть годный полушубок, платок рваный, всякую негодную лопатинку брали – и не обижались сами, не обижали и тех, с кем совершали мену. А потом маньчжуры все ж обиделись, да накрепко.

У них на утесе, называемом Сахалян-Ула, стояла ропать – или кумирня, моленный их дом. Приносили они там жертвы камням, а позади была как бы моленная – дощатый балаган, ничего особенного. Русское начальство пожелало поставить тут крест – как знак, что здесь, в глубине от берега, военный пост стоит. Ну а кресту никак не ужиться с какой-то шаманской моленной – и сломали ее. Маньчжуры, как про то узнали, пришли зимой и начали ее снова строить. Тогда от станции назначено было двадцать человек: и казаков, и солдат-«сынков»⁵, чтобы разломать, сжечь, строиться не дать. Маньчжуры свою кумирню опять стали ладить, да тож дощатую – ее легко было вдругорядь сломать. Ну что ж, после того маньчжуры отступились: не только бросили строить, но и вовсе от берега ушли. Вместо них зачастили русские купцы. Ну и гольды со всей рыбой, икрой. Гольды – и вместе с ними Тати...

Стоило Софрону подумать про Тати, так его словно кипятком ошпарило. «Что ж я тут попусту сижу, мечтаю, время трачу? – подумал испуганно. – Она мне что велела сделать: Максима непременно увидеть и знак ему подать, а я... а я словно старик, который одними воспоминаниями живет. Так меня Тати называет, когда сердится. А что, я и вправду люблю вспоминать. Светлые памятки – милое дело, великая радость! Но Тати, стоит ей услышать от меня: «А помнишь, как мы с тобой встретились?» – прямо из себя выходит. «Памятками тот живет, у кого настоящего нет, – злится она, – у кого одно прошлое осталось. А у нас с тобой и настоящее есть, и будущее. А ты невесть о чем думаешь, словно жертвы прошлому приносишь. Настоящее обидится, будущее рассердится – прочь уйдут, останешься неудачником, вот и состаришься прежде времени, словно обезножевший старик!»

Так говорит Тати, когда сердится, а Софрону слышится в этих ее словах: «Уйду от тебя... к другому уйду...»

Даже думать об таком Софрону нестерпимо – до сердечной боли, до смертной муки. Удача его – Тати. Что ему удача без Тати?! Покинет она Софрона – ему и стариком становиться без надобности, просто так вот сразу ложись да и помирай.

Значит, надо с мыслями собраться, велел он себе. Значит, нельзя растекаться по сторонам мыслями. Вот о чем он думал только что? О том, что подземный ход, через который он пробирается к прииску, прорыли не те маньчжуры, которые возили русским переселенцам чай и строили дощатую кумирню, а их воинственные предки, некогда державшие в страхе все окрестные племена – и смирных гольдов, и задиристых, драчливых гиляков. А заодно они цапались с первыми поселившимися в тех краях русскими – разбойными землепроходцами.

⁴ *Гураны* – дикие сибирские козлы; кроме того, так в Забайкалье и на Амуре насмешливо называют полутуземцев, помесь от русских казаков и местных жителей.

⁵ «Сынками» называли солдат, определенных на кратковременный или длительный постой по разнарядке в избы к казакам или крестьянам.

Никому не известно, для чего они соорудили ход, почему укрепили его лиственницей. Проходя им, Софрон касался плечами столбов, которые поддерживают свод, и не боялся, что он обрушится, ведь лиственница – вечное дерево. Для всего годное, только не для колодцев. Отец рассказывал: когда переселенцы только пришли на Амур, кто-то взял да и срубил лиственничный колодец. Вода в нем была дивно чиста, но на вкус невыносима: слишком смолиста, горька. Колодец до сих пор стоит на окраине станицы, но воду из него даже скотина не пьет, и для полива ее тоже не берут. Но лиственничный сруб не скоро обветшает.

Эх, опять мысли Софрона в сторону вильнули... А ведь Тати велела найти Максима.

Ну, это нетрудно – найти его. Он не потеряется и среди сотни других, не то что среди десятка. Высокий, приметный, с умным, насмешливым лицом, даром что бородой зарос, как все, что одет в такие же лохмотья, как остальные, ходит, подобно им, росамахою⁶, – все же за версту его выделишь! В этой партии, которая золото роет на Кремневом ручье, он один такой – не просто с умом, но и с господским воспитанием, с настоящим образованием. Прочие ворюги да убийцы – голь перекатная с бору по сосенке. Максим почище других. Тяжко ему среди них. Опасное место Кремневый прииск, да и все приамурские места – не лучше. Потому что доброго человека сюда не пришлют. Хотя и мирным переселенцам тоже палец в рот не клади. Где села покрупней, где военные посты вроде Хабаровки, где солдат много, чтобы народишко в острастке держать, – там еще туда-сюда, в страхе живут люди, остепененно, а тут, в отдаленной местности...

Ладно, если все так пойдет, как задумал Максим, как наколдовала Тати, глядишь, все и обойдется, в другие места перебраться удастся, другой жизнью пожить – вольной, привольной, богатой, светлой и чистой... Размечтался Софрон, да тут же и спохватился: опять он подумал этим словом – наколдовала. Хорошо, что Тати не слышит! Она сердится, не велит так говорить. Надо говорить – нашаманила. Тати ведь из рода шаманов, из рода Актанка. Это род тигров, все женщины у них – особые, вещие. Мужчины почитай все в шаманы идут, а женщины вещуют и им помогают. Все здесь по воле предка-тигра делается. Мать Тати была их шаманским сообществом отвергнута, когда переночевала с каким-то захожим маньчжуром, но Тати переняла ее умения. Понятное дело, раз она от маньчжура зачата, никто, кроме Софрона, в ее вещие умения не верит, думают, она лишь на то годится, чтобы самые простые женские дела делать: детей рожать да юколу вялить...

Насмотрелся Софрон на жизнь гольдов. Ведь русские переселенцы устроились близ их стойбища, когда искали место для того, чтобы обосноваться наконец на этом красивом, высоком берегу. Кругом тайга-глухомань, а тут обжито. Хотя и вовсе чужой народ, а все же люди, значит, в соседстве с ними будет веселей.

Обычно гольдское стойбище невелико – от четырех до двенадцати юрт, – а здесь их стояло больше двадцати. И зимники, жилища, обмазанные глиной, позади села, по уступам сопок, разбросались, и летники берестяные (их можно снимать и переносить на новое место, если оно окажется более удачным для охоты и рыбалки) вышли вперед, по песчаным и каменистым отмелям, впереди селения. Потом Софрон видел другие гольдские селения – все они похожи одно на другое как две капли воды, даже в мельчайших подробностях и в обстановке, все эти Бельго, Джооми, Хунгари, Цянка и другие. Впереди всякой гольдской деревни поблизости от воды обычно увидишь большие и частые ряды мелких кольев. На перекладины их гольды вешают свою юколу – ремни и ленты, вырезанные из пойманной на зиму рыбы.

Ох, и красиво в гольдском стойбище, когда рыба на нерест идет, когда ее на кольях кругом сушат – она вся красная, с золотистой кожурой, а калуга⁷ – бело-золотистая с кожурой коричневатой-золотой, – и кажется, что среди лета вдруг осень наступила, потому что осень

⁶ То есть одежда не застегнута, нараспашку.

⁷ Вид осетровой рыбы, которая водится только в Амуре.

здесь яркая и разноцветная, не чета той, что в России. Софрон, конечно, не помнил, какова она там, на родимой его Нижегородчине, однако большие сказывали, мол, точно побледней, чем амурская...

Да и что же, что побледней? Там все же родина, куда Софрон так хочет попасть, что все бы за то отдал. Невмоготу ему больше смотреть на глиняные гольдские юрты с широкими окнами, затянутыми бумагой вместо стекол, где вместо печей – глиняные горнушки с горячими угольями. Нет, ничего не имеет он против самих гольдов, он ведь даже и жену из них взял себе, а все же хочется другого вокруг себя. Он, сколько себя помнит, сколько рос, все во сне видел ту нижегородскую деревню, и лес, и двор, и корову, и покосившуюся избу... Там все другое, тихое, и даже ветры дуют тише, не несутся ураганами, дожди не льются тайфунами. Там змеи все в леса ушли, там такого не бывает, как мать рассказывала: когда пришли на Амур, стали балаганы ставить, а он, Софронка малой, один на припеке сидел, и вдруг видят большие – вокруг парнишки словно бы пестрая веревка обвилась. Какая такая веревка, думают? Глядь-поглядь – а то змеюка, а никакая не веревка. Отец пошел на нее с топором, а она голову вскинула, зашипела, да как кинется на него! Цапнула зубом – ладно, что за ичиг⁸, – и порскнула в траву, канула. А Прокофьевых с тех пор стали кликать – Змейновы.

Ну и ладно. Софрону, когда подрос и узнал, почему, что да как, даже и нравилось прозвище. А то все кругом Ивановы, да Шамшурины, да Прокофьевы. Одно и то же, куда ни плюнь. А он – Змейнов.

И чем плохо? Змей в лесу – жуть. Ну, потом-то, когда прииск заработал, когда каторжан – варнаков по-здешнему – нагнали, их стало чуть поменьше, ушли от греха подальше, но и тогда, и после ни одна Софрона или домашних не тронула. Тати вообще говорила, что теперь он не только от *змеиного*, но и от всякого *земного* яда заговорен, потому что змея есть тварь земная и со всеми ее ядами, в том числе травчатыми, в родстве.

Софрон, когда с Тати повстречался, еще пуще свою новую фамилию зауважал. Покровитель Тати – тигр. Его – змея. У кого еще такое есть? А ни у кого. Ни у Ивановых, ни у Шамшуриных... Один только равный Софрону и Тати появился – Максим Волков. Из рода волка! И теперь они втроем должны быть вместе. Так говорила Тати, а Софрон всегда ее слушался.

Ее все всегда слушались. И даже Максим.

Ну, тот-то слушался, может, потому, что Тати придумала, как ему уйти с каторги. А это все равно что жизнь спасти, ведь каторга – гибель хуже всякой смерти. А Софрон... А Софрону она не только жизнь, но и душу спасла. Он ей всей душой своей обязан.

Нет, не душой – *духом*. Не зря говорят: душа-де в темнице (во плоти, значит), а дух на воле.

Вот и дух Софрона жил теперь на воле, свободно жил – только благодаря Тати».

* * *

– Да ты руки опусти, опусти! – настаивал Феич. – Ты ж на руках висишь, а должна – на ногах.

– Я боюсь, – проскулила Алёна. – Я упаду.

– Леночек, ты не упадешь, – ласково проговорил где-то за пределами ее видения, в нормальном, не перевернутом мире Леший. – У тебя же ноги в держалках.

– Они выскользнут, – не верила Алёна. – Выскользнут из держалок, и я упаду.

– Вот не надо было сапоги снимать, – проворчал Леший. – В сапогах точно не выскользнули бы.

⁸ *Ичиги* – старинное сибирское название сапог.

А и правда что... Скобы массажного кресла – специального, переворачивающегося, с функцией вытяжки позвоночника – немилосердно сдавливали щиколотки разутых ног. Носки не спасали – было ужасно больно. И Алёне казалось, что держалки затянуты очень слабо. Конечно, подъемы стоп у нее высокие, но если все ее шестьдесят пять кэгэ потянут вниз, никакие подъемы не удержат. Или проскользнут ступни в скобы, или косточки их просто-напросто сломаются. В любом случае – такую боль просто не выдержать. А может, в том и есть смысл лечения – болью в одних суставах вытеснить другую?

Ну да, и стоило за этим ехать больше чем за полсотни километров от города, в глухоманию какую-то, типа к знахарю, чтобы в избе ужасного вида измучить свои подъемы на новейшем массажном кресле, которое было выписано за бешеные деньги из Москвы, а туда приплыло аж из Америки?!

Может, попросить, чтобы ее подняли, вернули в нормальное состояние? Может, заявить, что с нее довольно? Но не обидится ли Феич? Он ведь сказал, что нужно сначала повисеть, а потом на печке посидеть – заболевшие суставчики прогреть. Алёна предложила начать с печки, но та еще не протопилась, кирпичи не прогрелись. И ей показалось так любопытно – попробовать повисеть вниз головой... А теперь кажется, что и печки одной вполне хватило бы. И ничего бы с ней не случилось, если бы она дожидалась, пока кирпичи прогреются, в нормальном сидячем, а не висячем состоянии.

– Да и в носках не выскользнут, – нетерпеливо сказал тем временем Феич.

– Выскользнут... и я упаду.

– А куда вы упадете, позвольте полюбопытствовать? – вкрадчиво спросил Феич.

– Как – куда? – удивилась Алёна, как можно крепче вцепляясь в поручни. – Вниз.

– А где он, низ?

Вот ведь, нашел время Феич исследовать пространственные категории! Самое подходящее! Впрочем, наверное, это как раз в стиле его парадоксальной натуры.

Он и впрямь походил на домового своими длинными, нестриженными волосами, своей сплошь «шерстяной», заросшей бородой и усами, физиономией. Впрочем, прозвище Леший к нему тоже пристало бы – куда больше, чем художнику, которого так называли всего лишь из-за имени Алексей, Леша. И ничего более несусветного (а ведь именно так может быть объяснено по-русски слово «парадоксальный»), чем обиталище знахаря, Алёна в жизни не видела. Назвать его захламленный сарай домом язык не поворачивался. Стоял он на старом, может быть, сто-, а может быть, двухсотлетнем фундаменте. Феич сообщил, что тут исстари находился дом его предков. Слова знахаря прозвучали так высокопарно, словно сообщение о фамильном замке. Алёна вспомнила, как летом побывала во Франции в некоем графском замке, где экскурсию проводила сама *madame la comtesse*, так вот графиня та могла бы у Феича поучиться по части *noblesse oblige*. Куда мадам графине до русского знахаря!

Алёна, впрочем, патетики Феича не оценила и с трудом скрыла от хозяина довольно ехидное фырканье. И так была им занята, что пропустила мимо ушей, кому, собственно, – бабушке, прабабушке или вовсе двоюродной тетушке Феича – принадлежала некогда фамильная изба. Прокашлявшись, Алёна успела только услышать, что изба сгорела то ли по воле Божьей, то ли по злоумышлению человеческому, но Феич решил непременно восстановить родовое гнездо – и начал строиться на старом фундаменте. Сначала он поставил бревенчатый первый этаж, на что ушли все его деньги. На сооружение второго не осталось ничего. Так что Феич теперь блюдет каждую копейку и заодно размышляет о перепланировке первого этажа.

Слушая прожекты странного знахаря, Алёна разглядывала печку, стоявшую посреди этого сарая, и думала, что с перепланировкой жилья Феича еще можно подождать, а вот с уборкой – никак нельзя.

Героиня нашего повествования была принципиальной и воинствующей противницей инвективной лексики, однако даже она не могла подобрать другого слова, кроме срач (тысяча

извинений, господа интеллигентные читатели, даже две тысячи!!!), для описания того беспорядка, что царил в просторном сарае, именуемом домом. Пол явно не мыли и даже не подметали с того дня, как закончилось строительство, а произошло это года три назад, по словам Феича. Однако в доме все еще пахло свежераспиленным деревом, и чуткий нюх Алёны его сразу уловил. Под потолком были протянуты веревки, на них вениками висели обскубленные будылья пижмы, зверобоя и прочих лечебных растений, сухие листья которых вкрадчиво хрустели под ногами, смешанные с крошками и даже объедками, небрежно сметенными со стола. Напротив двери, на самом ходу, почему-то стоял большущий, окованный железом сундук, о который дважды стукнулась Алёна, дважды – Леший и трижды – сам хозяин, однако, судя по мусору, сметенному к сундуку, он здесь обосновался прочно и сдвинут не будет, даже если все ноги Феича и его гостей покроются синяками. Количество курток, телогреек, маек, рубах, брюк и джинсов, висевших на вбитых в стены гвоздях, было поистине эпическим. Причем все эти многочисленные и разнокалиберные одеяния были одинаково и столь же эпически грязными. Так же, впрочем, как одеяла, подушки, матрасы и пледы, наваленные на широченные – два на два метра – нары, сооруженные в углу. Учítывая, что Феич жил бобылем, на них он либо укладывал спать многочисленных гостей, либо они (нары) изначально предназначались для занятий групповым сексом. Кстати, наличие гостей и групповуха друг друга не исключают, а скорей предполагают.

Честно говоря, описывать раскардаш и неряшливость в доме Феича можно было еще долго, но кому это интересно? Интересней другое: наличие посреди избы сверхдорогого и суперпрогрессивного массажного кресла. Кроме того, в углу, на деревянной, весьма топорно сколоченной лавке, стоял отличный ноутбук, который имел выход в Интернет с помощью какого-то дорогостоящего наворота, а рядом лежал сумасшедше красивый пистолет-мелкашка. Был он классической марки «беретта», но имел формы совершенно невероятные. Алёна, поглядев на него, облилась слезами зависти (так уж складывалась ее нелегкая биография, что ей довольно часто приходилось иметь дело с «береттами»⁹, правда, газовыми, но от перемены мест слагаемых сумма не меняется) и решила, что именно так должен выглядеть какой-нибудь бластер, из которого, надо или не надо, беспрестанно палят герои разных космических опер и фантастических романов.

Разумеется, Алёна немедленно схватила «беретту» и принялась ее любовно осматривать. Она даже поприцеливалась из нее в разные углы Феичеевой фамильной жилухи, а Леший, который считал, что вид у нее в тот момент очень впечатляющий, даже сфотографировал «двоюродную сестру» на фоне огромной медвежьей шкуры, натянутой на распялки. Удостоена была Алёна также фотки на фоне знаменитой Феичевой печки, на сундуке и у компа, причем в привычной ей профессиональной позе: одна рука на клавишах, другая сжимает пистолет, как будто детективщица Алёна Дмитриева решила непременно пустить себе пулю в лоб (вообще-то не пулю, а металлический шарик, пневматика ведь, но совсем необязательно доходить в нашем повествовании до срывания всех и всяческих масок), если не закончит в срок очередного романа... Что и говорить, цейтнот и задержка рукописи были перманентным состоянием для нашей героини, потому как-то с напрягом складывались в последнее время ее отношения с любимым издательством «Глобус», которое снисходило до того, чтобы печатать остросюжетные побасенки, которые весьма лихо валяла Алёна Дмитриева.

А впрочем, мы несколько отвлеклись, и уже пора вернуться к нашей висящей вниз головой героине, которая как раз подумала, что это весьма в духе парадоксального Феича: держать навороченный ноутбук на деревянной лавке в захламленном сарае – и оценивать простран-

⁹ Об этом можно прочесть в романах Елены Арсеньевой «В пыли любовного угара», «Проклятье Гиацинтов», «Черная жемчужина», издательство «Эксмо».

ственные категории в то время, когда перед ним висит вниз головой знаменитая (ну, или почти знаменитая) писательница.

Где низ, главное дело, спрашивает! Где-где... Известное дело!

– Ну, там... – Алёна отцепила один палец и указала на пол. Правда, в данный момент пол находился над головой. Она ведь висела вниз головой, и пол был над головой... Или под головой? А потолок под ногами. Или все же над? М-да...

– Что, трудновато определиться на местности? – хохотнул Феич. – Советую вам сделать вот что: опустите руки – и коснитесь того, что у вас около головы. То есть пола. Можете подержаться за него и немножко успокоиться. Конечно, это не совсем то, что нужно, а все же суставчики потянете.

Алёна подумала-подумала и решила, что предложенное знахарем упражнение ничем ей не грозит. Пол – вот он, рукой подать. Она и «подала» – сперва одной, потом другой рукой. Ладони уперлись в пол, и сразу стало легче. Человеку, совершенно как мифическому Антею, нужно касаться земли. Пол в жилухе Феича был, разумеется, такой грязный от земли и мусора, что досок не разглядишь, и сначала Алёну ужаснула необходимость дотронуться до него, но теперь очень даже понравилось. Этакое чувство надежности возникло. Наверное, Феич не просто так живет в своем сарае. И пол не мыл годами тоже не просто так. Что-то во всем этом есть. Еще бы понять, что именно.

Ладно, у нее еще будет время понять, а сейчас надо потянуть суставчики, как советовал Феич... Алёна только-только собралась их потянуть, как у нее сильно-сильно закружилась голова и вдруг потемнело в глазах. По всей видимости, кровь прилила к голове.

«Ой, нет! – зажмурилась наша писательница и изо всех сил уперлась в пол ладонями. – Надо сказать им, чтобы подняли кресло. Это все не для меня!»

И тут раздался звон, затем грохот! Что-то упало рядом с ее головой. Алёна вскрикнула, повернула голову и увидела около себя... полено. Не большое, но и не маленькое – нормальное такое полешко, которым если по голове получишь – очень впечатлишься. И оно, то полено, упало в паре-тройке сантиметров от ее головы! Ледяным зимним воздухом потянуло по рукам, упиравшимся в пол, и Алёна, еще сильнее повернув голову, увидела, что морозом понесло из разбитого окна.

Так вот что зазвенело – кто-то с улицы бросил полено в окно, стекло вдребезги... Ничего себе! В такую-то стужу! Не слабо развлекаются в Падежине!

Что рассказала бы Маруся Павлова

– Ты там смотри, – посоветовала Марусе на прощанье мать, глядя в сторону. – Смотри да присматривайся. Может, и правда Дуська перед смертью раскаялась, что жизнь мою поперек перешла, а все ж смотри... Она всей правды никогда не скажет, не обмолвится про то, что затаила. Держи ушки на макушке и пошарь по углам. Мало ли что Вассиан мог припрятать про черный день. Он даром что городской, а по нашим чащобам хаживал, как мы по широкой улице. А там ведь, в глуши лесной... там всякое...

С таким непонятым наставлением Маруся и уехала. Ох, намучилась, пока нашла возчика – несколько дней подряд пришлось ходить к Дому крестьянина возле Мытного рынка и ловить там кого-нибудь, кто бы собирался ехать в направлении Падежина. В Богородск-то сколько угодно сельчан направлялось, а вот найти попутчика хотя бы до деревни Пулькино, чтобы двадцать верст не топать пеши, потрудней оказалось... Наконец Маруся отыскала подводу, которая шла до Пулькина, а от него до Падежина всего семь верст по лесной дороге. Можно сказать, до места довезут! Сговорилась с хозяином, и на другой день, едва забрезжило, выехали.

Стоял июль, ночи уже продлились, не то что в июне, когда почти беспрестанно светло да засветло. Было жарко, несмотря на то, что солнце лишь слегка пробивалось сквозь облака, а марево мошкаринное, бессонное, как прицепилось к седокам и лошади, так и не отвязывалось, пока не выехали на Арзамасскую дорогу. Тут было повыше, и с Оки ветром наносило. Сразу посвежело, духота ушла, мошकारа отлетела. Так хорошо стало! Маруся сначала оглядывалась было, надеясь поймать позади, на востоке, лучи восходящего за Печерским монастырем солнца, но потом устала головой вертеть – и придремнула. А вскоре и вовсе уснула, устроившись меж наполнявших подводу тюков. Проспала она полдня и подняла голову, когда город остался далеко позади, а вокруг дороги начали смыкаться вершины деревьев.

– Так мы уже повернули, что ли? – спросила, недоверчиво озираясь.

– Эх, девка, все ты проспала. Что ночью делать будешь? – усмехнулся возчик, маленький бородатый мужичок с веселым носом картошкой. – У вас там в Падежине скучно – ни вечеров, ни гулянок, ни время провести. Хочешь, я тебя нынче свезу к нам в Пулькино? У нас веселая деревня, парней много, захороводят тебя так, что и не захочешь уезжать! Погуляешь, повеселишься, а завтра и к тетке двинешь.

Маруся, когда о подводе сговаривалась, сообщила, что едет ухаживать за больной теткой, вот возчик и знал про ее дела.

– Сами говорите, дяденька, не захочу уезжать, – усмехнулась Маруся. – А мне к тетке надо непременно. Нет уж, лучше не буду я у вас в деревне гостевать. От греха подальше...

– ...к спасению поближе, – закончил присловье возчик. – Во-во, Падежино – самое место от искуса спастись!

– Конечно, там же монашки после закрытия монастыря остались, – подхватила Маруся. Но поймала взглядом кривую усмешечку, спрятавшуюся в бороде возчика, и запнулась: – А что, разве нет?

– Да-то да, – кивнул он, однако все с той же усмешкой. – Сестры тихо живут. Ну, паратройка замуж повыходили, а так-то ничего скоромного про них не слышать. Не в них дело! Разве ты не знаешь, что в Падежине все малахольные?

– Ума решились, что ли? – удивилась Маруся. – А с чего?

– Да все клады ищут, – ухмыльнулся возчик. – Слышала небось?

– Никогда! – изумилась Маруся.

В самом деле она ничего такого не слышала. И матушка в жизни не упоминала ни о каких кладах. Но вдруг вспомнились ее слова: «Мало ли что Вассиан мог припрятать про черный

день. Он даром что городской, а по нашим чашобам хаживал, как мы по широкой улице. А там ведь, в глуши лесной... там всякое...» Неужели на клады намекала?

– Ну, еще услышишь! – улыбнулся веселый возчик шире. – Про варнака с варначкою, про сокровища их несметные... Главное, уши не развешивай. Вранье все это, байки одни! Таким байкам поддашься – и заведут они тебя в глушь лесную, не продерешься оттуда потом. Плюй на все, еще спасибо скажешь, что я тебя упредил.

– Спасибо я могу и сейчас сказать, – вздернула нос Маруся. – Только что мне ваше упреждение? Я в комсомол готовлюсь вступать, а значит, ни в какие дремучие глупости не верю.

– Ты сейчас не веришь, – хохотнул возчик. – А вот как забредешь в лес, как пройдешь по-над Золотой падью... Там только зимой без опаски можно ходить, летом же то и знай такие мороки бродят, что, как бы ты ни хоронилась крестом и молитвой, не открестишься, не отмолишься.

– Предрассудки все это! – отмахнулась Маруся, уверенная, что никакой старорежимный морок ее не возьмет.

Возчик не врал: тоска в Падежине стояла смертная. Днем и ночью узенькие, кривенькие улочки были одинаково пусты. Иногда Маруся усаживалась на завалинку с самого раннего утра и то не успевала увидеть, как падежинцы идут на поля или на ферму. Может, туда и не ходил никто... Всяк возился на своем огороде, а совхозное начальство сюда и вовсе не заглядывало, разве что пробежится бригадир, размахивая засаленной тетрадкой и отчаянно стуча в ворота, и... несолоно хлебавши убежит восвояси, потому что никому неохота за «палочки» работать. Ну и с кем, скажите на милость, ей болтать о всяких кладах, если она и не видела никого?

Тетка о кладах тоже молчала. Она вообще больше молчала. Лежала в постели, лишь изредка вставая. Была совсем слаба, и Маруся поверила: сестра матери писала в письме о своей близкой смерти правду.

Маруся раньше думала, что деревенские близко живут. В том смысле, что все друг у дружки на виду, непрестанно бегают туда-сюда в гости и судачат о чем ни попадя. Ничего подобного! У них в бараке на Черном пруде в Нижнем и то поживей жизнь идет. А здесь – тишина. За все время только бабка Захарьевна, знахарка, что тетку пользовала, наведывалась. При ней всегда был племянш – она его так и называла, Племянш, без имени. Может, его и в самом деле так звали: здоровенный русоволосый парень, косая сажень в плечах, ручищи – только подковы гнуть. Он не заходил в избу – оставался стоять, опершись о забор и рыская настороженным взглядом по улице. Иногда взгляд его перебегал к Марусе, и той становилось чуть жутковато от пустоты, которая в его глазах сквозила. Казалось, Племянш малость не в себе. Придурки-то вот именно такие и бывают – громоздкие да пустоглазые! К счастью, Захарьевна приходила нечасто, а без нее Племянш не наведывался.

Захарьевна про клады тоже помалкивала. И вообще была с Марусей неприветлива, а почему, бог весть. Вот так и вышло, что впервые о падежинских легендах Маруся прочла в книжном обрывке, который остался от издания дяди Вассиана. Нет, конечно, ерунда все и предрассудки. Но читать больше было нечего, и Маруся огорчилась, что книжка искурочена.

Она спросила:

– Тетя Дуня, а почему книжка разорвана?

– Да был тут один... активист с обыском, – неохотно проронила та. – Библию я от него спрятала к себе под одеяло, а эту не успела. Да и не думала, что он ее тронет. А он как заревел: «Еще хуже, чем поповские бредни!» – ну и разорвал. Половинку в печку швырнул, а половинку Вассиан успел у него отнять.

– К вам приходили с обыском? – изумилась Маруся. – Да что ж у вас можно искать было? Вы что, контрразведчики? Троцкисты?

– Не погань язык, – сурово сказала тетя Дуня. – Сама-то понимаешь, чего несешь? Искали тут разное, наудачу... ну и зашли к нам ненароком.

Больше она на эту тему не обмолвилась ни словом. Вот так, почти не разговаривая, провели они несколько суток, и Маруся начала уже тихонько сходить с ума от тоски. Конечно, бездельничать ей было некогда: огород требовал забот, опять же птица – две куры, к которым хаживал в гости соседский петух, ну и в доме прибираться да варить нехитрые обеды. Возиться на огороде у Маруси не было никакой охоты. Так, прополола кое-что... Не создана она была для крестьянского труда, что и говорить. Однако размышляла волей-неволей, что будет делать с урожаем, если тетушка все же вскоре умрет. На чем вывозить картошку в город? Оно бы, конечно, не худо, да ведь копать ее не раньше сентября... Неужели до сентября тут сидеть и как бы ждать теткиной смерти? Неладно, нехорошо... Да и к учебе нужно в сентябре возвращаться...

Совсем худо стало, когда девушка услышала, как тетка плачет по ночам. Плачет и разговаривает во сне. Сначала Маруся решила, что кто-то есть в доме, а потом поняла, что тетка говорит сама с собой – вернее, с мужем, которого видит во сне.

– Что ж ты ни весточки, ни словечка... – жалобно бормотала больная. – Как воришка, который прокрался в дом, украл – да и сбежал. Неужели правду говорила Дашка, мол, ты и меня так же покинешь безжалостно, как ее покинул ради меня?

Ах, вот, значит, что развело сестер... Правильно Марусе тогда еще, в городе, показалось, будто в голосе матери звучит неизбывная ревность. Что ж он за человек был, Вассиан Хмуров, если две старые женщины по нему до сих пор убиваются?

Конечно, старые! Марусе девятнадцать, значит, матери ее – уже тридцать восемь, а тете, которая на два года старше, аж сорок. Седая древность, словом.

В ту ночь Маруся так и не заснула. А утром поднялась чуть свет, тихонько оделась и осторожно, стараясь не ступать на скрипучие половицы посреди горницы (идти надлежало по стеночке, тогда можно добраться до двери бесшумно), вышла на крыльцо. Поплескала в лицо из бочки с дождевой водой, ею же пригладила коротко остриженные волосы (забыла причесаться, но не возвращаться же за гребешком) и села на ступеньках, поеживаясь от приставшей к мокрому лицу и волосам утренней прохлады.

Роса щедро сверкала на траве, что значило – день будет жарок. Маруся подумала, что лучше бы она росой умылась. Как в сказке. Умываешься росой – красавицей станешь, что всем известно. Ах, да кому нужна ее красота, которая тут, в деревне, вянет? Понятно, почему мать стремглав выскочила за Николая Павлова, хоть он и невзрачен собой, и к рюмочке то и знай приложиться норовит, – это было единственное средство вырваться из скучного – мучительно-скучного! – Падежина. Да еще после того, как сестра отбила ухажера. Небось Даше было все равно, за кого замуж идти, лишь бы не в омут головой...

Так жалко стало и мать, и тетку, и, главное, собственную пропадающую жизнь, что у Маруси слезы навернулись на глаза и одна даже капнула на голую коленку. А коленка была поцарапана, и царапину неприятно защищало. Маруся чуть наклонилась, чтобы коленку подолом вытереть, и тут ей в глаза бросилось что-то белое в щели меж ступеньками.

Она наклонилась и посмотрела поближе. Там лежала какая-то бумажка, покрытая синими разводами.

* * *

– Что это? – испуганно вскрикнула Алёна, косясь на разбитое окно. – Кто это сделал?!

Громко затопало – мимо пронеслись две пары ног. Одни были Лешего – в нормальных теплых зимних ботинках. Другие хозяйские, в смысле Феича, – в какой-то обувке, которую нельзя было назвать другим словом, как пимы. Не то чтобы Алёна совершенно точно знала, что такое пимы, но в ее представлении они были чем-то вроде обрезанных валенок, подшитых резиной. Именно подшитых, а не вставленных в калоши! Такую обувку и носил Феич.

Хлопнула дверь, и Алёна поняла, что мужчины убежали ловить злоумышленника, а она осталась одна. Сделалось по-настоящему жутко – она ведь не могла без посторонней помощи поднять кресло. Конечно, ничего страшного, Леший и Феич придут назад и вернут ее в нормальное состояние, а все же... Ох, уж поскорей бы они возвращались!

Раздался шум. Что-то хлопнуло – наверное, открылась и закрылась дверь.

– Феич! – радостно позвала Алёна. – Леший! Скорей переверните меня, а то я уже не пойму, где верх, где низ, все в голове смешалось!

– Феич и ваш приятель на улице, ловят кого-то, – раздался незнакомый голос. – Вообще-то свинство с их стороны, что бросили беспомощную женщину в этом уродском кресле! Впрочем, вполне в духе Феича, он ведь ненормальный. А вы что, сами сойти не можете?

– Нет, я боюсь оторвать руки от пола. Видите, он у меня над головой, – пояснила Алёна.

– Пол над головой? – хмыкнул незнакомец. – Занятно. Над головой, насколько мне известно, обычно бывает потолок.

– А вы кто? – спросила вконец замороченная Алёна. – И где?

– Я – вот он, – раздался голос, и прямо перед лицом Алёны оказалось лицо мужчины лет сорока пяти – симпатичное, синеглазое, с веселым, даже разудалым выражением, чисто выбритое. Нормальное, словом, лицо. Самое удивительное, что Алёна уже где-то видела этого человека. И что-то в нем было странное... Спустя минуту наша героиня, по роду профессии своей привыкшая мыслить логически, поняла, что у мужчины просто-напросто волосы дыбом стоят.

– А почему у вас волосы дыбом? – изумилась Алёна.

– Дыбом?! – Незнакомец явно озадачился и сделал какое-то неловкое движение, словно намеревался опустить одну руку, тронуть ею волосы, однако так и не решился.

– Ну да, – сказала Алёна. – И вообще, не пойму, почему вы держите руки поднятыми.

Он ухмыльнулся:

– А я нарочно. Чтобы потолок не упал.

– Какой потолок? – испугалась Алёна.

– Который у вас над головой, другого тут нету.

– А разве у меня над головой потолок? – озадачилась Алёна.

– Привет... – хмыкнул незнакомец. – А что же еще может быть над головой? Не пол же! Железная логика! Согласитесь, милая дама.

Алёна всегда пасовала перед железной логикой. Но, согласно той же логике, выходило, что и она не висит вниз головой, а стоит на своих ногах. Значит, Леший и Феич, перед тем как выбежать, все-таки успели перевернуть кресло.

У Алёны стало легче на душе. Конечно, если гость придерживает руками потолок, чтобы тот не упал, Алёна тоже должна это делать. Ну и что, ей совершенно не трудно. Настолько не трудно, что можно светскую беседу с гостем вести.

– А что привело вас к Феичу? – спросила Алёна приветливо.

– Ну, что... – задумчиво протянул незнакомец. – Я Тимкин клад ищу. Вы, конечно, в курсе дела.

– Видите ли... – неопределенно протянула и Алёна, совершенно не понимавшая, о чем речь, но почему-то стеснявшаяся в том признаться.

Она не договорила, потому что вспомнила, где видела мужчину.

Встреча сия произошла при обстоятельствах забавных, обыденных и довольно трогательных. Произошло это несколько дней назад на главпочтамте, куда Алёна зашла заплатить за телефон. Она оплатила счет и вышла в вестибюль, как вдруг к ней приблизился высоченный, румяный, синеглазый мужчина лет сорока пяти в странных одеяниях нараспашку – что-то вроде армяка из джинсовой ткани, какие-то бусы на грубом сером свитере а-ля Эрнест Хемингуэй и девчачьи фенечки на запястьях, джинсы в разноцветных заплатках, заправленные в кир-

зовые сапоги... Короче, не то эмо, не то шизик, а может, оба-два в одном флаконе. И мужчина сказал:

– Какая же вы красавица! С ума сойти! Хотите, крестик ваш заряду положительной энергией? И вообще, – добавил он, делая некие пассы вокруг Алёниной груди, как будто мечтал через ее каракулевую курточку определить, какой номер лифчика носит писательница, – я сейчас отогнал от вас все неприятности, все болезни. Вы теперь совершенно здоровы. Дайте хоть сколько-нибудь.

– Что? – спросила растерявшая Алёна.

– Ну, рубль или два, или десятку-две, или сотню-две, а можно и пару тысконок... Но знайте: от такой красавицы даже копейчку с благодарностью приму.

– О господи, – смутилась Алёна. – Я только что за телефон заплатила, и кошелек пустой. Вот разве что это... – Она достала из кармана курточки пригоршню пятак, полученных на сдачу.

– Спасибо, – весело сказал эмо-шизик, подставляя ладонь. – Ну до чего же вы красивая и сексуальная! Так бы и съел, давно таких не видел!

Понятно, мужик отработывал мелочовку, но очень симпатично это делал. Главное, Алёна была совершенно убеждена в правдивости каждого его слова. И не имела ничего против того, чтобы еще что-то в таком же роде послушать. Однако в ту минуту откуда ни возьмись явился почтовый охранник – молодой и непреклонный – и прикрикнул на загадочного мужика:

– А ну хватит тут побираться!

– Да кто побирается? – удивился веселый человек. – Я занимаюсь индивидуальной трудовой деятельностью. Хочешь, крестик заворю? Нагоню положительные эмоции?

– Здесь вам не центр нетрадиционной медицины, а главпочтамт, – сурово проговорил охранник, косясь на Алёну. – Нечего тут... Идите, ну!

– Ревнуешь красотку, что ли? – с хитрющим выражением проговорил вдруг эмо-шизик. – Да брось, она не про тебя! Ты для нее мелковат, да и мальчишка, а ей нужен мужчина в полном расцвете лет.

– Уж не ты ли? – презрительно проронил охранник, имевший метра два росту и классическую косую сажень в плечах.

Алёна не стала ждать, пока они выяснят отношения, и поскорей ушла. В преотличном настроении, надо сказать, улыбаясь про себя и чувствуя, что похорошела за последние пять минут на порядок. У нее даже нога перестала болеть, а из-под стабильно-низкой облачности последних дней вроде бы даже солнышко проглянуло.

Впрочем, длилось сие эйфорическое состояние недолго. Из-за поворота на улицу Горького навстречу Алёне явился, нелепо выбрасывая вперед ноги в валенках, низкорослый косматый человек в черной одежде до полу (и не ряса монашеская, а что-то вроде), торчащей из-под расхристанной дубленки. Он метнул неприязненный взгляд на ее сияющее лицо и прошипел:

– Грешница, покайся! О душе думать пора. Все там будем, помни! – после чего исчез, аки злобный ворон, который налетел, каркнул – да и улетел прочь.

Ох, как сразу заболела нога... И сумрак сгустился – какое еще солнце ей примерещилось?! Ужасно захотелось вернуться на почтамт и снова набраться веселого задора от мастера заговаривать крестики и делать комплименты. Однако его, конечно, уже изгнал ревнивый охранник...

Алёна призвала на помощь свое знаменитое чувство юмора и пошла дальше, подумав, что эти двое, эмо-шизик с почтамта и «черный ворон», явились на ее жизненном пути, как свет и тень, как хорошее и плохое, как радость и горе. Ну разумеется, человеку свойственно запоминать хорошее, свет и радость, именно поэтому весельчак с почтамта и запал в память Алёне. Физиономию косматого «ворона» она едва ли запомнила бы, а вот его... И ничего, что волосы незнакомца стояли сейчас дыбом, физиономия почему-то раскраснелась, а глаза нали-

лись кровью (почему-почему, ну, видимо, потому, что потолок держать – это тебе не кот начи-хал, совершенно как в песне про атлантов, которые небо держат на каменных руках: «Держать его, махину, не мед со стороны!»), все равно он был тот самый человек.

Конечно, меньше всего Алёна могла бы ожидать встретить его вновь, да еще где и при каких обстоятельствах – поддерживающим потолок жилухи Феича. Но в любом случае она обрадовалась и, улыбаясь, воскликнула:

– Слушайте, а ведь я вас узнала! Мы с вами виделись на главпочтамте. Помните? Вы предлагали мне крестик заговорить, а еще уверяли, что... – Тут Алёне стало неловко упоми-нать про его смелые и откровенные комплименты, и она несколько смикшировала свои воспо-минания: – Еще говорили, что все мои болезни исчезнут. Помните?

Человек нахмурился. Его лицо и глаза еще сильнее налились кровью. Как-то непохоже было, что он очень обрадовался, услышав слова Алёны...

– Слушайте, – вдруг проговорила она озадаченно, – почему тут так газом пахнет? Вы чувствуете?

В самом деле – газом откуда-то тянуло. Что было очень странно, поскольку никаких при-знаков газовой плиты или баллонов в доме-сарая Феича и в помине не было. Тем не менее газом пахивало – как бы из-под пола тянуло.

– А, черт! – вдруг воскликнул мужчина и... и, сильно оттолкнувшись от потолка руками, перевернулся так, что уперся в него ногами. Мгновение Алёна в тупом изумлении разгляды-вала его ботинки, на которые спускались довольно обтерханные джинсы.

«Странно, – успела она подумать, – стоит вверх ногами, а джинсы почему-то не задра-лись».

В то же мгновение наша героиня ощутила сильный рывок. Все смешалось перед ее гла-зами, потолок с полом, верх с низом поменялись местами, заломило ноги, и кровь так резко отлила от головы, что Алёна, испуганно вскрикнув, лишилась сознания.

Из записок Вассиана Хмурова Что рассказал дядька Софрон

«Софрон осторожно сдвинул в сторону пышноцветный шиповниковый куст. Не дай бог ветку повредить – глазастый Чуваев мигом насторожится: почему шиповник цвел и цвел и вдруг цвести перестал. И сунет сюда свой острый нос. А если Чуваев куда нос сует, то дело можно считать загубленным. Нет у каторжных старателей более вредного надсмотрщика. На что у них жизнь тяжела, а такие, как Чуваев, ее еще тяжелей делают. Нет, упаси бог допустить, чтобы он приметил нечто неладное с кустом! По той же причине следует беречься и не страсти лепестков с веток. Ведь кругом шиповник стоит еще в нетронутом цветку. «Собачей розой» называет его Максим. Оказывается, в переводе с особенного языка, которым изъясняются люди ученые и который называется латынью, именно так должен именоваться шиповник. Софрону казалось, что название не столько научное, сколько бранное, поэтому сейчас сердито ворчал, отодвигая ветку:

– Ух ты, рожа твоя собачья! Да не трясу я лепестков, ну что ты этак-то трепещешься!

Повезло – Максим знал, что Софрон вот-вот появится, и уже осторожно косился в сторону холма, а потому заметил его сразу. И, тяжело подволакивая ногу, натертую кандалами, побрел к холму, на ходу выдергивая вздержку из штанов, как если бы задумал отлучиться по нужде. На него никто не обратил внимания – все работяги столпились около человека в офицерской форме, который пристально разглядывал кремневый сколыш, а рядом стоял худенький юноша-гольд с непременной круглой серьгой, оснащенной подвесками из разноцветных камней, и что-то быстро-быстро говорил на ломаном русском языке.

Софрон неприязненно покосился на Акимку – так звали юношу. Он хвостом ходил за Тати и нипочем не желал отступаться. Она-то на него даже не глядела, но ее холодность его никак не охлаждала. И ее дед Кола, у которого жила Тати после смерти матери, очень не прочь был отдать свою шалую и непутевую (даже табак в рот не брала, хотя ни одного гольда, мужчину или женщину, малого или взрослого, не увидишь без трубки, а по запаху можно их угадать издали) внуку Акимке, который дружен с русскими и которого сам русский инженер, капитан Стрекалов, очень привечает. А когда Софрон заговорил с Кошой о женитьбе на Тати, старик даже головы в его сторону не повернул. Он даже и помыслить не мог о том, чтобы девушка из рода Актанка вышла за русского. Другое дело Акимка – он свой, а русские ему помогут разбогатеть и стать настоящим нойоном¹⁰...

Да, ничего не скажешь, Стрекалов с узкоглазым Акимкой носился как с писаной торбой и называл его самородком подороже золотых. А что он такого сделал? Нет, ну если разобраться? Это же дед его, старый шаман...

В ту минуту Софрон перестал думать об Акимке, потому что увидел: конвойный Чуваев заметил, как Максим отошел в сторону, и двинулся за ним с пакостной улыбочкой на веснушчатом остроносом лице.

Но Максим уже обнажил свой тощий зад и сидел на корточках спиной к шиповниковому кусту, задумчиво подпершись локтями, и на Чуваева внимания не обратил, как и положено человеку, занятому нужным делом.

Конвойный ухмыльнулся:

– Бог в помощь, страдалец! – и отошел к остальным обитателям прииска.

Максим тихо плюнул ему вслед:

¹⁰ Так у сибирских народов называется богач, уважаемый человек.

– Вот же гадина! – Он знал, что Софрон слышит его, и спешил душу излить: – Небось когда надену штаны, он не поленится подойти и палочкой дерьмо мое поворошить, чтобы проверить, не исхитил ли я самородочка, не спрятал ли в кишках, да не обронил ли незадачливо. Эх, понимал бы я его суету, кабы ему какой-никакой процент с добычи шел, а то ведь изгаляется чисто по сути своей гнусной, палаческой. Об одном Господа Бога молю, чтобы Стрекалов, как отправится в путь, именно этого ката взял бы с собой за стражника и кучера. Уж я бы тогда дал воли рукам, уж я бы потешил душеньку!

И тут же Максим, видимо, спохватился, что слишком увлекся ненужными проклятьями, а времени у них с Софроном мало, и спросил:

– Ну что там придумала наша великоумная Марина для помощи бедному Кортесу?

Когда Максим первый раз называл Тати Мариной, а себя Кортесом, Софрон решил было, что кандальник умом сдвинулся. Да и Тати поглядывала не без испуга, хотя она мало чего в жизни боялась. Потом Максим рассказал им про испанца Кортеса, приплывшего в далекую страну Мексику, чтобы разжиться там золотишком, и про тамошнюю туземную девку Марину. То есть ее звали как-то иначе, вовсе язык сломать, чтобы выговорить, но Кортес ее Мариной прозвал, и она была ему верной помощницей до того самого дня, как он покорил-таки всех дикарей и обогател за их счет и за счет их жизней. Ну что ж, некоторое сходство было. Только Марина помогала своему любовнику, а Максим не был любовником Тати, это первое, а второе – Марина весь свой народ во власть испанцам отдала на разграбление. Тати же, хоть и презирала мирных гольдов и читла из них только род Актанка, имевшего предком того же тигра, что и она, хоть и предпочитала называть себя маньчжуркой, все-таки никому из гольдов не желала зла. Она знала, конечно, что ради достижения их цели придется оставить позади несколько трупов, что обречены погибнуть Акимка, инженер Стрекалов и неведомый пока стражник, но это были те трупы, которые необходимо переступить, чтобы выйти на дорогу к богатой и свободной жизни, которая, в представлении Тати, существовала для русских и их женщин. Такой жизни Тати хотела еще сильнее, чем участи маньчжурской царевны, а ведь именно маньчжурской царевной называл ее Максим и, бывало, смеялся, что именно про нее было написано в какой-то книжке, которую он читал аж в самом Санкт-Петербурге много-много лет назад – еще до того, как его забрили в кандальники и отправили на Амур, на прииск Кремневый Ручей, дробить кварц ради того, чтобы отделить от него золото.

В той книжке рассказывалась история любви какого-то русского – не то разбойника, не то землепроходца, а вернее всего, и того, и другого, – который жил в маньчжурских степях грабительскими набегами, верховодил шайкой таких же удалых сорвиголов, каким был сам, и однажды умудрился исхитить маньчжурскую царевну, которая вместе со свитой и стражей направлялась к своему будущему мужу. Вместо того чтобы выйти за сановного маньчжура, царевна принуждена была стать наложницей атамана, и хоть покорно терпела его ласки, все же смотрела на него с ненавистью. Логовище свое атаман устроил на вершине сопки, которую почитал неприступной, но вот однажды шайка его проснулась и обнаружила, что лагерь обложен огромным маньчжурским войском и из осады можно только на крыльях улететь. Но крыльев ни у кого не было, и, не желая медленно умирать от голода и жажды, разбойники предпочли попытаться прорваться с боем – или погибнуть. Они и погибли – все, кроме атамана, которого потом велел привести к себе маньчжурский военачальник. Ведь именно его невесту некогда похитил русский, и сановник пожелал сам убить его. Но вдруг царевна бросилась к его ногам и стала умолять пощадить ее мужа. Потрясенный военачальник отложил казнь до утра, однако ночью царевна помогла русскому бежать – и с тех пор они не расставались ни на миг, жили в лесу год или два, счастливые лишь своей любовью, до тех пор, пока не погибли оба враз, в один день и даже в одну минуту, убитые огромным камнем, скатившимся со скалы.

Когда Максим рассказывал эту историю, Тати слушала с недоверчивым выражением на лице, а Софрон, который любил разные легенды, был вне себя от восторга. Такой сказки он никогда не слышал!

– А ты хотела бы умереть со своим мужем, со своим любимым вот так – в один день, в одну минуту? – спросил Максим, усмехаясь.

Тати посмотрела на Софрона и спокойно ответила, что все это очень хорошо выходит в сказках, а в жизни обыкновенно случается иначе и гораздо скучнее.

– Экая рационалистическая девица наша узкоглазая терзательница сердец! – засмеялся тогда Максим. – Ни грана поэтичности, коя должна быть свойственна истинному дитяти природы!

Тати холодно пожала плечами, а Софрон понурился оттого, что ничего в словах Максима не понял. Вообще Максим часто говорил такое, что оставалось для Софрона слишком мудреным, слова не залетали ему в уши, а словно бы мимо разума пропархивали. А вот Тати, чудилось, смысл Максимовых заумных речений отлично понимала, хоть и была дикарка, всего-навсего девчонка из племени гольдов. Но ведь Софрон грамоту знал, букварь и Библию читать умел, а она-то?!

Хотя нет, она тоже умела читать. Только не книги, написанные буквами, а диковинные черты, и резы, и круги, и волнистые линии, и изображения птиц и рыб, которые были начертаны на огромном камне, спрятанном в подводной амурской пещере. Снизу камень омывался прохладной, темной волной, а сверху освещался лучами солнца, косо проникавшими в скальную расщелину. На взгляд Софрона, изображено на том камне было совершенно дикое, случайное смешение каких-то невнятных знаков, однако Тати читала их так легко, как если бы там были аз, буки, веде, глаголь и добро, начертанные на огромной странице каменного букваря.

Тати читала Софрону про род белого тигра, который некогда владел здесь всеми землями, про то, что каждый человек рано или поздно вернется на землю своих предков, только неведомо, произойдет это при жизни или после смерти, а еще про то, что где-то далеко лежит какая-то Золотая падь, побывав в которой каждый узнает о себе самое главное, суть натуры своей изведает.

Она читала знаки на камне, облекала их в слова, на ходу переводя на русский язык, ну а Софрон смотрел на ее маленькие круглые груди, лежащие на поверхности темной воды, словно светлые лотосы на своих темных листьях. Ну да, им ведь пришлось раздеться, чтобы попасть в подводную пещеру. Тати первая скинула с себя свое платье из ровдуги¹¹ и махнула рукой, чтобы Софрон тоже раздевался. Он сперва стоял, вылупив на нее глаза, а потом потащил через голову рубаху. И запутался в ней, потому что кровь застучала в висках, он ничего не соображал, света белого не видел, а видел только тонкое, длинное, смугло-золотистое тело Тати, гладенькое, безволосое, словно бы шелковое. Он раньше видел русских девок голыми – случалось подглядывать в купальнях или банях, – ну и знал, что у них передки и подмышки волосиками покрыты, однако на теле Тати не было ни единого волоска, и красноватая щелка, прорезавшая ее передок, так и манила к себе жадный взгляд Софрона. Он отвернулся, стаскивая портки, и опрометью кинулся в воду, потому что боялся – Тати станет смеяться, когда увидит, что приключилось с ним от одного только вида ее.

Холодная амурская вода ненадолго отрезвила Софрона, но лишь ненадолго – пока он не увидел, как лежат на воде ее груди-лотосы. Теперь кровь стучала в чреслах, и ему казалось, что жар его тела согревает воду кругом. Хотелось схватить Тати, прижать к себе... А как же не хотелось, неужто он тревенец¹² какой?! Просто он боялся, что девка вывернется и уплывет, а потом больше никогда к нему не подойдет. А ведь он давно по ней сох. Это китайцы отгоро-

¹¹ Особым образом выделанная и высушенная рыба кожа, из которой народы Дальнего Востока шьют одежду и обувь.

¹² Требенец – скопец, евнух.

дились от мира каменной стеной, а от любви разве отгородишься? «Не про меня она, – с тоской думал Софрон, – рохля я, неухватчивый...» Но мысли не отрезвляли тела, и вода вокруг, кажется, уже готова была вскипеть.

Тати почуяла, что с ним неладно. Она всегда видела его насквозь, каждый помысел Софронов был ей ясен еще прежде, чем тот зарождался в его голове. Тати вдруг перестала читать непонятные знаки и забралась на камень. Был он плоский, большой, так что девушка вся на нем уместилась. Она легла на спину, раздвинув ноги и согнув их в коленях. Лица ее Софрон не видел, но бросился на этот призыв, как олень на свою ланку.

Ничего, что считал себя неухватчивым, все, что надо было, ухватил...

Потом он спрыгнул в воду и от восторга, от счастья носился по маленькой пещерке, взбаламучивая волну, словно невиданный водный зверь тюлень, о котором рассказывали люди, бывавшие на Охотоморском побережье. А Тати все лежала на камне, спокойно глядя в скальный разлом, сквозь который виднелось небо, и дремотно щурила свои и без того узкие глаза. Чресла ее были окровавлены, однако она ни слезинки не проронила. Софрон дивился, потому что слышал, будто девки непременно плакать должны, когда их бабами делают. А для Тати словно ничего неожиданного не произошло.

А может, она этого ждала? Может, знала, что оно должно случиться? Может, ей подсказали письмена, и она поступила так нарочно – по их судьбоносной подсказке? Но если раньше она была просто красивой гольдской девчонкой в ровдужных одеждах, шелестящих, как тайга под теплым ветром, то теперь для Софрона вся тайга шелестела, как ее одежды. Тати стала его бредом, его тяжким сном, полностью овладела его мыслями, наделила его новой душой, и он был готов на все ради нее, даже на смертоубийство. Именно смертоубийство и было задумано – оно должно было помочь им исчезнуть, помочь бежать Максиму и добраться до России. Но не как беглые преступники – брести до России пешком, таясь, крадучись, рискуя каждый миг быть перехваченными теми, кто будет послан в погоню, они не хотели.

Всякий, кто проделывал на рубеже девятнадцатого и двадцатого веков долгий и трудный путь из-за Урала в Сибирь и в Приамурский край, путь на казенных лошадях, в кибитке, неминуемо видел мужиков с котомкой за плечами и в рваных полушубках, идущих во встречном направлении обочь большой дороги. Идут они устало, на проезжих даже не смотрят, как будто им люди из России – самое привычное дело. И никто не даст поруку в том, что это просто абы какой странник или же путник, идущий в губернский или уездный город за неотложным делом, а не варнак. Может, и полушубок-то он стащил, да и верней всего именно стащил, но никто его сурово не судит, потому что плохо, конечно, лежал, ведь человеку для того глаза в лоб вставлены, чтобы за своим добром смотрел.

Впрочем, известно, что чаще всего варнаки бегают ватагами, артелями, человек по двадцать или даже тридцать. В бегстве они смиренны: их только не трогай, и они не тронут, их только на родину пропусти. Когда крестьяне приамурских сел летом уходят на страду, то на оконце нарочно оставляют и хлеба, и молока в глиняном кувшине, и кусок пирога. Вернутся домой – все съедено, значит, варнаки были. А в дом зайдут – ничего не перевероршено. Так же и по ночам на завалинке дорожный припас стоит для лихих людей – чтобы не лиходейничали в той деревне, которая их подкормила да напоила.

Этот народишко никто не ищет, не ловит – знает начальство, что сами они воротятся на свое место или на другой завод, какой окажется поближе, лишь только станут холода заворачивать. Одежонка поизносится, а холода сибирские не для худой sprawy. Придут они в острог или в завод, возьмут их, постегают и снова в работы определяют. Потрудятся на казну до весны – и весной опять уйдут в бега. А по осени воротятся... Много среди кандального народу таких, очень много!

Но Максима, Софрона и Тати непременно ловили бы, непременно искали, потому что они хотели уйти не сами по себе, с пустыми руками, а с богатой добычей. И вот Максим с

Тати придумали, как и уйти, и погони избежать, и золотом разжиться. Да не тяжкими кусками кремня, которые нужно долго отдалбливать, чтобы добраться до золотины, а чистыми, светлыми самородами».

* * *

– Леночек! Леночек! Леночек, очнись, ты что?! – достиг Алёниного слуха перепуганный голос Лешего.

– Наверное, дергалась, дергалась, пока не смогла перевернуться, и от перелива крови потеряла сознание, – раздался другой голос, перемежающийся кашлем.

– Идиоты, как мы могли убежать и бросить ее, висящей вниз головой! – взвыл Леший.

– Ничего, я сейчас помассирую ей руки... – произнес кашляющий голос, и кисти Алёны вдруг пронзило такой болью, что она вскрикнула и открыла глаза. Перед ней находилась лохматая физиономия Феича. Сквозь обильную волосатость сквозила яркая белозубая улыбка.

– Леночек! – радостно завопил Леший, отталкивая Феича и заглядывая Алёне в лицо. – Ты очнулась?

– Нет, – буркнула наша героиня, которая терпеть не могла риторических вопросов, и выдернула свои ладони из рук Феича: – Пожалуйста, поосторожней. У вас очень радикальные методы воздействия. Норовите то вверх ногами подвесить, то руки сломать...

– Никто вам ничего не ломал, – обиделся Феич, и улыбка его погасла. – Я воздействовал не на кости, а на мышцы. Разве мышцы можно сломать?

– Наверное, их можно порвать, – неприветливо отозвалась Алёна. – Что вам почти удалось. И вообще, мне бы хотелось, наконец, слезть с орудия пытки.

– Орудие пытки! – вскричал Феич, и даже сквозь лохмы было видно, что лицо его побледнело от обиды. – Вы еще вспомните это орудие добром! – ворчал он, наклоняясь к щиколоткам Алёны и отстегивая зажимы.

Ох, кажется, она ни разу в жизни с таким наслаждением не становилась на цыпочки, чтобы размять затекшие голеностопы!

– Как хорошо, что ты сама смогла перевернуть кресло, а то так и висела бы вниз головой, пока мы того гада ловили, который окно разбил! – проговорил Леший. – Интересно, что за сволочь так тебя не любит, Феич, а?

– Ты лучше спроси, кто меня тут любит, – со смешком отозвался Феич. – Народ трусливый, все знают, что прабабка моя знахаркой была, ну и понимают, что я человек серьезный. Вроде смех смехом, а когда перед Новым годом снегу не было, прислали ко мне ходока: мол, не слышал ли ты, Фенч, когда погода переменится, а то ведь все посевы померзнут при такой погоде. Я вроде бы в шутку и говорю: мне в дирекции совхоза обещали дрова дать на зиму, а надули, хотя все оплачено, вот пока не привезут, снегу не будет. Ты не поверишь: завтра же трактор с прицепом пришел, дрова притащил! Вон лежат, – Феич махнул рукой в сторону двери, – никак руки не дойдут поленицу сложить... Снег выпал как по заказу, и вдруг снова оттепель. Как начало таять, мужики опять ко мне: Феич, какого черта, дрова тебе подвезли, что ж снег тает, ты же обещал! Народ совсем цивилизованный стал, вконец одурел, примет не помнит, забыл, что только третий снег ложится, а два предыдущих сходят. Я, конечно, держусь индифферентно, ваньку валяю, совершенно как тот герой Зоценко. Говорю: мне еще не подвезли толь, крышу подлатать, потому я снег и придерживаю, что знаю: крыша у меня протечет без перекрытия. И что вы думаете?! – Феич захохотал и весело посмотрел на Лешего, а потом и на Алёну, явно забыв обиду. – Наутро толь подвезли и даже крышу перекрыли! Ну а тут по всем прогнозам снег был обещан, третий, который, по всем приметам, просто обязан был лежать несходно. Выпал и лежит, а Феич теперь повелитель снега. Слава моя взлетела до небес.

– Ага, – невинным голосом сказал Леший, – а это лепесточек из лаврового веночка.

Алёна оглянулась и увидела, что полено по-прежнему валяется на полу, но разбитое стекло уже было загорожено фанеркой. Фанерка, впрочем, помогала мало – от окна отчаянно сквозило.

– Да есть людишки, – снова надулся Феич. – Понаехали тут... Выжить пытаются, чужаки, перекасти-поле. А я тут плоть от плоти, кровь от крови! И мой отец в этом доме родился. Ну, в смысле в том, который тут раньше стоял. И все, значит, тут мое.

Алёна надела сапоги, усмехнулась:

– Веселая у вас деревня, как я погляжу. То конкуренты поленья в окна швыряют, то какие-то мужики потолки поддерживают.

– Что еще за мужики? – удивился Леший.

– Понимаете, я пока вас ждала, то держалась за потолок, мне было тяжело и страшно, вдобавок еще и газом пахло. И вдруг появился один человек. Мы с ним сначала поговорили, а потом он почему-то перевернулся вверх ногами и кресло так качнул, что у меня в голове все смешалось и я сознание потеряла.

Феич и Леший переглянулись, и Алёна сподобилась узреть иллюстрацию к расхожему выражению «вытянулось лицо». Леший и раньше-то не отличался круглой физиономией, был довольно худ, но сейчас его лицо совершенно явственно сделалось раза в полтора уже и длиннее.

– Леночек, – проговорил он осторожно, – что ты такое говоришь? Мы тебя оставили в перевернутом кресле, а когда пришли, ты уже в нормальном положении была. Кроме того, мы все время вокруг дома бегали, и никто не мог бы войти, чтобы мы его не заметили. А тем более – выйти! И какой тут может быть газ? Деревня вообще не газифицирована. Да, Феич? Наверное, ты слишком долго провисела вниз головой, кровь прилила к мозгу, вот и померещилось всякое.

– Может, у меня кровь и прилила к мозгу, но умом я не сдвинулась, – обиделась Алёна. – Тот человек сначала был очень дружелюбен, рассказал мне, что ищет Тимкин клад, и спросил, слышала ли я что-то про него, а потом, когда я сказала, что вспомнила его: мы с ним на главпочтамте виделись – он там крестики заговаривал и сказал мне, что я красивая и сексуальная, но его охранник прогнал, – мужчина сразу разозлился и перекувыркнулся вверх ногами. И...

– Полный бред! – вскричал Феич. – Бред от первого до последнего слова!

Алёна на некоторое время просто-таки дара речи лишилась от возмущения.

Полный бред?! От первого до последнего слова?! И то, что она красивая и сексуальная, – тоже бред?!

– Какой еще Тимкин клад? – оживленно спросил любопытный Леший. – Тимка – это ты, Феич? Ты клад, что ли, нарыл? Теперь понятно, откуда у тебя такой джип. Везет человеку!

– На джип я заработал! – возмущенно выкрикнул Феич. – Своими собственными руками! – Он поднял огромные и очень крестьянские ручищи, к которым выражение «руки врача» подходило не больше, чем корове – седло. Впрочем, Феич ведь и не был врачом, он был знахарем. – А про клад – местные байки. Им лет сто уже. Они всегда к нашей семье липли, причем без всякого повода.

– Но байки все же существуют? – уточнила Алёна. – Тогда давайте мыслить логически. Откуда я могла о них узнать? В Падежине я впервые в жизни. Ни с кем из ваших деревенских не общалась – мы с Лешим как приехали, так из вашего дома ни ногой. Леший только с вами выскочил. А я тут и оставалась. Но кто-то же мне сказал про клад. Кто? Да тот человек, который здесь был. Значит, здесь кто-то все же был. Так? Так. Железная логика!

– Железная, – согласился Леший, с уважением глядя на писательницу Дмитриеву.

– Может, она и железная, – буркнул Феич, – но откуда я знаю, может, вы еще раньше про Тимкин клад слышали, в городе. А я одно скажу: пока мы с Лешим во дворе были, я все время на дверь посматривал, так в нее ни одна муха не могла незамеченной влететь. Ясно?

– Муха не влетала, – покладисто согласилась Алёна. – Какие мухи в феврале, вы сами посудите?! А то, что человек здесь был, факт. И что я его раньше видела – тоже факт. Не хотите верить – не верьте. Спасибо за прием, за лечение. Леший, ты не находишь, что нам пора? Уже два часа дня, а тебе же еще в монастырь заезжать. Так ведь? Тогда давай двигать. Темнеет рано, неохота будет в потемках возвращаться.

– Ага, поехали, – засуетился Леший. – Феич, ты того... спасибо... я тебе позвоню.

Феич что-то пробурчал сквозь заросли на своем лице и махнул рукой. Вид у него был угрюмый и понурый.

– В монастыре сестру Пелагею спроси, – буркнул он, обращаясь к Лешему, а на Алёну стараясь даже не глядеть. – Если Зиновия выйдет, с ней даже речи не веда, она не монахиня, а просто мирская послушница, ничего не решает, только форс гнет. Сразу спрашивай Пелагею.

– Хорошо, – кивнул Леший. – Ну, пошли, Леночек?

– До свиданья, – произнесла Алёна.

Феич отвернулся.

Вышли из дому и двинулись к «Форду» Лешего, приткнувшемуся к ограде. И вдруг Алёна ощутила, что ей чего-то не хватает. Чего же? Сумка была на месте. Сунула руку в карман курточки – на месте оказался и мобильник. Чего же не хватало?

Она подумала, прислушалась к себе... И вдруг поняла: не хватало привычной боли. Нога не болела! То есть вообще не болела, ни чуточки!

– Леший, ты представляешь, – растерянно пробормотала Алёна, – у меня нога совсем не болит.

– Да ты что? – изумился художник. – Вот видишь, даже на печке сидеть не пришлось. А ты на Феича ворчала: кости сломал, мышцы порвал... Он настоящий волшебник, моя спина сама за себя говорит. А теперь и твоя нога говорит.

– Моя нога ничего не говорит, – засмеялась Алёна. – Раньше-то она криком от боли кричала, а теперь молчит в тряпочку. И я очень рада! Я просто счастлива! Но ты прав – с Феичем я простилась ужасно. Давай ты пока заводи машину и разворачивайся, а я вернусь и скажу ему спасибо. И извинюсь. Ладно?

– Ладно, – обрадовался Леший. – Только ты побыстрей, а то и в самом деле нам же еще в монастырь нужно заехать.

Алёна ринулась к дому по тропке между сугробами. Снег выпал только вчера, и вокруг были отчетливо видны отпечатки ног. Вот ее сапожки-милитари оставили причудливые следы. Вот ботинки Лешего с рубчатой подошвой. А вон размазанные от пим (или от пимов, черт его знает, как слово склоняется во множественном числе!) – самого Феича.

И все. Никакого четвертого следа. А он должен, он просто обязан быть! Ведь тот человек не в окошко же влетел на полене, как барон Мюнхгаузен – на пушечном ядре. Влети он на полене, не просто стекло бы разбил, а всю оконницу выворотил бы.

Или впрямь ей померещился от прилива крови? Вот ведь запах газа определенно померещился, если деревня не газифицирована.

Алёна задумчиво покачала головой. Вообще-то раньше галлюцинаций у нее вроде бы не наблюдалось. Но всякие диковины наблюдать писательнице в жизни приходилось. К примеру, та история с призраком велосипедиста возле одной глухой французской деревушки... и та невероятная драка на дороге, и тот внезапно хлынувший дождь, который так вовремя смыл все следы...¹³

Нет, наверное, дело не в диковинах. Видимо, и впрямь только что случился самый стопроцентный глюк. Не компьютерный, а глюк мозга. И не чьего-нибудь, а Алёниного. В самом деле, надо не только поблагодарить Феича, но и хорошенько перед ним извиниться.

¹³ Подробнее читайте в романе Елены Арсеньевой «Ведьма из яблоневого сада», издательство «Эксмо».

Она толкнула дверь, вошла – и заранее приготовленные слова горячей признательности и сконфуженного извинения замерли, как принято выражаться, на ее устах. Потому что извиняться оказалось не перед кем.

Жилуха стояла пустой. Феича в ней не было.

Не было! Притом что выйти из дверей он не мог, не будучи замеченным Лешим и Алёной. Не мог также вылезти в окно, поскольку фанерка и сейчас прислонена к разбитому стеклу с внутренней стороны. Да и понадобилась бы дырка значи-и-тельно побольше, чтобы кряжистый Феич мог через нее выбраться. В печке вовсю плясал огонь, что начисто исключало предположение, будто Феич мог вылететь в трубу, как Баба-яга. Компьютер стоял выключенным, и сие означало: заблудиться во Всемирной паутине и пропасть Феич тоже никак не мог.

Впрочем, Алёна прекрасно понимала, что два последних предположения явно относились к разряду тех, которые порождаются приливом крови к голове.

Поэтому она молча постояла на пороге, еще раз обозрела комнату, заглянула на всякий случай под нары, никого там натурально не обнаружив, – и понуро вышла на крыльцо.

– Ну что, все в порядке? – прокричал от машины Леший.

Алёна представила, что начнется, если она скажет, что Феича в доме нет. Конечно, Леший ей не поверит и побежит искать пропавшего приятеля. А что, если... если найдет? Ведь некуда, в самом деле некуда Феичу деваться! Значит, очередной глюк? И станет Леший считать писательницу глюкнутой...

Она побежала к машине.

– Поблагодарила? – не унимался Леший. – Извинилась?

Алёна быстро села на переднее сиденье, сказала спокойно:

– Все о'кей, Леший. Поехали уже скорей.

И они поехали.

Что рассказала бы Маруся Павлова

Вообще-то, мало ли какая там могла быть бумажка... Но в том-то и дело, что мало! Если бы в городе, а то в деревне под крыльцом бумажка валяется. Очень странно.

Странно...

Маруся обошла крыльцо и увидела, что с одной стороны доски чуть разошлись. Неужто куры туда лазили? Тетка, помнится, ворчала, что за обеими ее непутевыми курами догляд нужен, так и норовят самое несуразное место найти, чтобы яйцо снести. Побегает, мол, за ними по двору, намаешься... Маруся и сама в том не единожды убеждалась.

Она встала на колени, сунула руку под крыльцо и схватила бумажку.

Да это же письмо! А синие разводы – следы от химического карандаша, которым оно было написано. Кое-что смазлось и растеклось, некоторые слова стали совсем неразборчивыми, однако в глаза Марусе бросилась неожиданно четкая подпись – *«Твой муж Вассиан Хмуров»*. И еще – *«Вернись, обещаю...»*

Значит, Вассиан все-таки оставил записку жене перед тем, как уйти! Мысль эта просто ожгла Марусю. Не было никаких сомнений, что у нее в руках то самое, о чем так тоскует тетя Дуня.

Девушка уже повернулась было, чтобы кинуться в дом, как вдруг глаза ее, безотчетно, не разбирая смысла скользившие по расплывчатым строкам, поймали шесть слов, заставившие ее вздрогнуть: *«Пойду под аз – и будь что будет! Золото там есть, я ему верю!»*

«Так... – подумала Маруся, чувствуя, что руки ее холодеют. – Так...»

Она вспомнила возчика, который предупреждал ее: в Падежине все-де помешались на поисках несуществующего варнацкого золота. Ерунда, конечно... а все же...

Надо заметить, что две недели, проведенные в тихом – даже чрезмерно тихом – доме Хмуровых, Маруся не просто тупо переводила вылупленные от скуки глаза со стенки на стенку, а думала. У нее накопилось много вопросов о прошлом сестер Дуни и Даши, но никто на вопросы девушки и не собирался отвечать. И тогда она стала искать их сама. И вот до чего додумалась... Тетя Дуня – даже такая, как сейчас, постаревшая, да что там, больная, почти неподвижная, угрюмая, нелюдимая, умирающая с тоски по мужу, – была в двадцать раз заметней, красивей и, как любили говорить девчонки на рабфаке, интересней своей сестры Даши.

– Он симпатичный, но неинтересный, – как-то раз сказала Марусина подруга Люба про одного парня, который звал ее с ним ходить.

– А кто, например, интересный? – спросила тогда Маруся.

– Ну кто... Например, Гошка Кудымов, – сказала Люба.

Тут подруга в точку попала. Гошка Кудымов был не просто интересный, он был... он был такой... По нему сохли все девчата, которые его знали. И те, которые не знали, а просто видели, тоже сохли. Вот как увидит какая-нибудь девчонка Гошку Кудымова – так немедля и начинает по нему сохнуть.

Конечно, у тети Дуни не было таких необычайных черных глаз, как у Гошки Кудымова, и кудри кольцами не вились, и улыбаться так, как он, поглядывая исподлобья, тетя Дуня, конечно, не умела. Маруся вообще ни разу не видела улыбки на ее лице! А все ж в ней было что-то такое, вот такое... словами невыразимое... На девчат, у которых это есть, ребята оборачиваются и смотрят им вслед, а по тем, у которых этого нету, просто глазами скользят незряче... Так вот и по Марусе скользили. И по маме ее, видать. А вслед тете Дуне обернулся Вассиан Хмуров – да и пристал к ней навечно.

То есть, значит, Вассиан жену свою всю жизнь крепко любил. И просто так, не обмолвясь и словом, не смог бы от нее уйти. Он и не ушел, а просто отлучился. Причем ради чего-то очень важного, настолько важного, ради чего можно было и жизнью рискнуть, и рискнуть жену

встревожить. Он оставил записку. Но по воле случая она не попала к тете Дуне. Как такое могло случиться? Да мало ли! Скажем, Вассиан Хмуров положил записку на стол, уходя, а придавить чем-нибудь забыл, вот бумажку и сдуло ветерком, вынесло в окно, а потом и под крылечко. И если бы хоть одна курица пусть единожды умостила снести там, хозяйка бы записку нашла. Так нет, эти шалавы туда не хаживали, они в лопухах мостились или под сараем...

И вот еще до чего додумалась Маруся за то время, что в доме тети Дуни провела. Конечно, Хмуровы были деревенщина... а все ж почище, поумней иных городских. Только поначалу Маруся насмехалась над Вассианом, который собрал в книжку бредни старушечьи, да еще и денег приплатил своих, чтобы те бредни напечатали. А потом подумала – она-то чего заносится? Она кто? Девочка рабфаковская. А дядя Вассиан? Какой-никакой, а все же писатель! Интеллигент! Не чета тем, которые по избам сидят, кулакам да приспешникам мелкой буржуазии. Конечно, Владимир Ильич Ленин называл интеллигенцию гнилой, однако не вся ж она гнилая. Максим Горький, к примеру, буревестник революции, тоже писатель, значит, интеллигент. И поэт Маяковский, и Николай Асеев, чьи стихи про «Синих гусар», про декабристов, так сильно нравились Марусе, что она даже плакала, когда читала:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.